

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке BooksCafe.Net

Все книги автора

Эта же книга в других форматах

Приятного чтения!

Ольга БЕРГГОЛЬЦ ГОВОРIT ЛЕНИНГРАД

Об этой книге

В одну из очень холодных январских ночей сорок второго года – кажется на третий день после того, как радио перестало работать почти во всех районах Ленинграда, – в радиокомитете, в общежитии литературного отдела была задумана книга «Говорит Ленинград».

Был даже составлен ее план. Тогдашний художественный руководитель радиокомитета Я. Л. Бабушкин, редактор литературного отдела Г. Макогоненко и я трудились над планом почти до утра, возле единственной, в четверть накала горевшей лампы, прикрытой газетным кульком.

За окном в ледяной крошечной тьме назойливо грохотали взрывы; в большой продолговатой комнате на раскладушках, на сдвинутых креслах, на диванах, устроенных вдоль стен (отчего комната походила на огромный вагон), тяжело, со стонами, с глухим бормотаньем, в пальто, валенках и варежках спали сотрудники отдела – все отечные или высохшие; один из них, журналист Правдич, не вздыхал и не бормотал: наверное, он был уже мертв. Утром мы обнаружили, что это так и есть.

Эта ночь – 10 января 1942 года – была для меня, как и для моих собеседников, одной из самых счастливых и вдохновенных ночей в жизни. Она была такой потому, что, начав размышлять о книге «Говорит Ленинград», мы неожиданно для себя впервые с начала войны оглянулись на путь, пройденный городом, его людьми, его искусством (нашим радиокомитетом в том числе), и изумились этому страшному и блистательному пути, и оттого буквально физически, с ознобом восторга, ощутили, что, несмотря на весь ужас сегодняшнего дня, не может не прийти то хорошее, естественное, умное человеческое существование, которое именуется «миром», и нам показалось, что и победа, и мир придут очень скоро – ну, просто на днях!

Поэтому мы, голодные и слабые, были горды и счастливы и ощущали чудотворный прилив сил.

– А ведь все-таки, наверно, доживем, а? – воскликнул Яша Бабушкин. – Знаете, дико хочется дожить и посмотреть, как все это будет? Верно?

Он смущенно засмеялся, быстро взглянул на нас, блестя большими светлыми глазами, и во взгляде его была такая нетерпеливая, жадная просьба, что мы поспешно проговорили:

– Конечно, доживем, Яша, обязательно! Все доживем!

А мы отчетливо видели, что он очень плох, почти «не в форме». Он давно отек, позеленел, уже с трудом поднимался по лестнице; он очень мало спал и очень много работал, и, главное, – мы понимали, что изменить это невозможно (он тащил на себе столько работы и столько людей, один оркестр чего стоил!), мы знали, что он не умеет и не будет беречь себя, что мы лишены возможности хоть чем-нибудь помочь ему, и, наверно, потому мы поспешили ответить, что доживем, доживем, все доживем.

Он счастливо улыбнулся, помолчал, как бы прислушиваясь к ответу, и медленно опустил веки. Они были воспаленные, темные, тяжелые. И, как всегда, когда Бабушкин

закрывал глаза, мальчишеское лицо его сразу постарело, стало измученным и необратимо больным. Мы только переглянулись, а он вдруг, не открывая глаз, медленно, тихо проговорил:

Вот он,
большелобый
тихий химик,
перед опытом наморщил лоб,
Книга –
«Вся земля» –
выскиваем имя.
Век двадцатый.
Воскресить кого б?

Потом помолчал и с нарастающей силой продолжил:

Маяковский вот...
Поищем ярче лица, –
недостаточно поэт красив. –
Крикну я
вот с этой,
с нынешней страницы:
– Не листай страницы!
Воскреси!

– Мы включим в книгу «Говорит Ленинград» и передачи с его стихами, – с увлечением сказал Бабушкин, оживляясь, широко открывая глаза и вновь молодея. – Ведь они совершенно особо звучат в наших условиях!.. Конечно же, и его стихами говорит Ленинград.

В ту ночь мы набрасывали план книги, в которой должны были быть и стихи, и рассказы, и очерки, и сатира, и документы, и целые программы, передававшиеся по радио, и, главное, – выступления самих ленинградцев: солдат и матросов, рабочих и ученых, артистов и писателей.

Все это мы предполагали расположить хронологически, начиная с первых дней войны и кончая прорывом блокады, которая, как нам казалось в ту восторженную ночь, должна быть прорвана очень скоро. А прорыв блокады тогда почему-то сливался в нашем воображении с понятием полной победы. Но до прорыва блокады было еще больше года, до ее ликвидации – больше двух, а до победы – более трех лет... Но, веря в близкую Победу, не предугадывая того невероятного, бедственного, что нам придется вынести, мы не были тогда ни слепы, ни наивны, ни легкомысленны; повторяю, оглянувшись в ту ночь на краткий, столь трагический и все же по духу своему победоносный, мужественный путь нашего города, мы просто всей душой ощутили общенародную, а значит, и нашу, ленинградскую непобедимость. Вечная слава, вечное уважение мгновениям, подобным той ночи!

Нигде не значило радио так много, как в нашем городе во время войны.

В августе сорок первого года, когда последние пути, ведущие из Ленинграда в страну, были перерезаны и заняты немцами, когда кольцо блокады плотно сдавило город, радио было почти единственным средством общения города со страной.

Прежде всего по радио узнавали ленинградцы, что делается на фронтах России, – газеты с Большой Земли уже с трудом доходили до нас, – только по радио узнавала Россия, что делается в Ленинграде. Она должна была знать о нем правду! Ведь немцы, бешено штурмуя город, ежедневно на весь мир кричали о том, что с минуты на минуту Ленинград будет взят; ведь в занятых уже районах Ленинградской области немецкие газеты печатали обширные извещения о «падении Ленинграда», помещали – разумеется, смонтированные –

снимки: ээсовец стоит на посту у Гостиного двора; ведь немецкое командование громогласно назначило сроки торжественного парада на Дворцовой площади и офицерского банкета в «Астории». У них ведь, как известно, даже билеты на этот банкет были приготовлены...

Вот в эти дни, ежедневно, в разные часы, чтоб не так уж мог забивать немец, по указанию Центрального Комитета Коммунистической партии Ленинград стал говорить со страной голосами своих защитников – рабочих, бойцов, партийных работников, матросов, поэтов, композиторов, ученых.

Москва принимала нас и транслировала по всему Советскому Союзу, и народ наш знал: вот и сегодня Ленинград не сдался, вот и сегодня он еще держится. Вспомните, что это было в дни отчаянного положения, когда немцы шли вперед неудержимо, когда ежедневно нашим армиям приходилось оставлять город за городом... И вдруг Ленинград остановил немцев! Ленинград держался, Ленинград живыми голосами клялся, что не сдастся ни сегодня, ни завтра – никогда, и на другой день советские люди снова слышали его голос! Стоит. Дерется. Полон сил, уверенности, гнева и деловитости.

Эти передачи проводились, несмотря ни на какую обстановку внутри города, – был ли обстрел, была ли бомбежка, было ли то и другое вместе. Передачи происходили ежедневно и начинались словами: «Слушай нас, родная страна! Говорит город Ленина. Говорит Ленинград».

Композитор Дмитрий Шостакович выступал «на эфир» в передаче «Говорит Ленинград» в тот день, когда «Ленинградская правда» вышла с передовой под заглавием «Враг у ворот». «Над городом нависла непосредственная угроза вторжения подлого и злобного врага, – говорилось в передовой. – Ленинград стал фронтом». Об этом же говорили расклеенные на стенах города воззвания Военного совета – «Враг у ворот». Когда композитор ехал на машине в радиокомитет, началась воздушная тревога. Но страна, жадно ловившая голос Ленинграда, не знала, что Шостакович говорит под гул зенитных орудий и разрывы бомб.

К счастью, «накладки» не было, бомбы ложились не вблизи радиокомитета. Композитор говорил с большим внутренним волнением, голос его звучал чуть глуховато, но был четок и внешне спокоен.

– Час тому назад я закончил вторую часть своего нового симфонического произведения, – так начал свое слово Дмитрий Дмитриевич. – Если это сочинение мне удастся написать хорошо, удастся закончить третью и четвертую части, то тогда можно будет назвать это сочинение Седьмой симфонией... Несмотря на военное время, несмотря на опасность, грозящую Ленинграду, я в довольно быстрый срок написал две части симфонии. Для чего я сообщаю об этом? Я сообщаю об этом для того, чтобы радиослушатели, которые сейчас слушают меня, знали, что жизнь нашего города идет нормально...

Все мы сейчас несем свою боевую вахту. И работники культуры так же честно и самоотверженно выполняют свой долг, как и все другие граждане Ленинграда...

* * *

...Двадцать два года прошло с тех пор, как я первый раз держала в руках эти два невзрачных, вырванных из блокнота листка, исписанных нервным, мелким почерком, почти без помарок, и сейчас, так же как тогда, пронзают они мое сердце безграничной своей гражданской горделивостью и целомудрием скромности. Редактор передачи дал их мне, чтобы «посмотреть, не слишком ли это спокойно».

– Нет, – сказала я, – тут нечего править и нельзя добавить ни одной пафосной строки. Но я прошу вас, подарите мне этот черновик.

– Да сделайте одолжение, – рассмеялся он, – только разрешите, я перепишу с оборота кое-что. Тут у меня небольшой план очередных оперативных передач на город...

И вот хранится у меня этот черновик речи Шостаковича, на обороте которого написан –

рукой тоже торопившейся – план очередных передач на город:

1. Организация отрядов.
2. Связь на улице.
3. Строительство баррикад.
4. Бои с зажигательными бутылками.
5. Оборона дома.
6. Особо подчеркивать, что бои сейчас ведутся на ближних подступах...

Эти передачи-инструкции уже готовились и должны были передаваться сегодня-завтра. А Шостакович негромко говорил в это время:

– Советские музыканты, дорогие мои и многочисленные соратники по оружию, мои друзья! Помните, что нашему искусству грозит великая опасность. Будем же защищать нашу музыку, будем же честно и самоотверженно работать...

О, они работали на оборону – музыканты единственного оставшегося в Ленинграде оркестра – оркестра радиокомитета. Да, в Ленинграде в те дни не раздавалось по радио ни одной песни, ни одной мелодии – кто-то решил, что «сейчас для этого не время», но оркестр жил, он давал концерты для Англии и Швеции – необходимо было, чтоб и там знали, что мы живы и не только сопротивляемся и боремся, но даже играем Чайковского и Бетховена. А кроме того, почти все оркестранты несли службу ПВО и работали на оборонительных сооружениях. Скрипач А. Прессер был командиром пожарного звена радиокомитета; самую первую зажигательную бомбу, упавшую на крышу здания, потушил концертмейстер группы альтов артист И. Ясинявский; артисты Е. Шах и А. Сафонов рыли рвы и траншеи вокруг города как раз в тот день, когда выступал Шостакович... Им и в голову не приходило, что когда-нибудь они будут играть ту симфонию, о которой говорил композитор.

– До свидания, товарищи, – заканчивал он свою коротенькую речь, – через некоторое время я закончу свою Седьмую симфонию. Мысль моя ясна, и творческая энергия неудержимо заставляет меня двигать мое сочинение к окончанию. И тогда я снова выступлю в эфире со своим новым произведением и с волнением буду ждать вашей строгой, дружественной оценки. Заверяю вас от имени всех ленинградцев, работников культуры и искусства, что мы непобедимы и что мы всегда стоим на своем посту...

«Заверяю вас, что мы непобедимы...» Так говорил Шостакович, один из славных сыновей Ленинграда, гордость его, говорил вместе со всеми ленинградцами. И Родина, с гордостью, с болью и тревогой ловившая каждое слово колыбели Революции, верила Ленинграду.

Уже поздней осенью, когда первые партизаны Ленинградской области через линию фронта пришли в Ленинград и, конечно, явились к нам, в радиокомитет, чтобы под вымышленными именами или под какой-нибудь одной буквой выступить перед ленинградцами, – они рассказывали о том, что значили для них передачи из Ленинграда.

– Немцы изо дня в день печатали в своих газетах, что Ленинград сдан и Балтийский флот уничтожен, – говорил командир Лужского отряда Н. А. Панов (тогда товарищ П.). – Население подавлено известием, у нас в отряде настроение тяжелое... Как быть? Собираем партийную группу отряда, на повестке дня один вопрос – сдан Ленинград или нет? Постановили – не сдан! Да, да, постановили: считать Ленинград несданным... Но сердце болит!.. И вот идем лесом и натываемся на ордежских партизан. Первые слова, конечно: «Не слышали, как Ленинград?» А у них рация... А вот, говорят, попробуем, послушаем... И надо же – такая удача, – не прошло и часа – ловим: «Слушай нас, родная страна... говорит Ленинград... говорит Ленинград... Говорит крейсер «Киров»!» Ну! Что тут с нами было – мне не рассказать! Жив и Ленинград, и флот! Значит, правильно партсобрание решило. Мы тотчас же наших агитаторов в села – рассказывать, что не сдан Ленинград и не сдается. Это нам очень помогало.

* * *

Голос Ленинграда доходил до самых отдаленных углов страны, он возникал порой в самое нужное время... Об этом рассказывали нам в Севастополе в 1944 году севастопольские домохозяйки и ученый-хранитель Херсонского музея Александр Кузьмич Тахтай. Ленинград и Севастополь, Ленинград и Киев, Ленинград и Одесса начали свою переключку осенью сорок первого года, когда все четыре города подвергались вражескому штурму. Горькой, героической и, увы, недолгой была эта переключка... Дольше всего говорили мы с Севастополем, уже тогда, когда оба города были в осаде, вплоть до дня взятия Севастополя.

– Мы ловили голос Ленинграда с особым трепетом, – рассказывал Тахтай, – это был голос собрата по судьбе... Голос старшего брата. Спокойствие и уверенность, с которыми говорили ленинградцы, поражали и воодушевляли нас. Ведь мы-то лучше других знали, что означает это «несмотря на бешеные наскоки врага с земли и воздуха...» Но особенно поразило уже потом, когда мы узнали, что вы в это время – зимой и весной сорок второго года – испытывали, кроме так называемых «бешеных наскоков».

Нет, мы никого не обманывали, мы просто говорили самую важную правду, самое для всех главное: что держимся и будем держаться.

Разговаривая между собой в городе, мы разрешали себе больше...

Я помню, как 19 сентября 1941 года, в день неистовой бомбежки, которую помнят все ленинградцы, со Стремянной улицы в Дом радио пришла женщина, гражданка Московская, у которой только что под развалинами дома погибло двое детей. Она никогда не выступала по радио, но она пришла и сказала:

– Пустите меня к радио... я хочу говорить!

И она рассказала о том, что час назад случилось с ее детьми... И нам запомнились не столько ее слова, сколько ее дыхание. Трудное дыхание человека, который все время удерживает вопль и подавляет рыдание, дыхание, схваченное микрофоном и усиленное уличными рупорами. И весь Ленинград и бойцы на ближних подступах, на окраинах Ленинграда, слушали рассказ матери о том, как на Стремянной улице погибли у нее сын и дочка, и слушали ее дыхание – дыхание самого горя, самого мужества, и запомнили все это. Это помогало держаться.

Выступая с радиотрибуны, люди города, где личное и общее слились воедино, поддерживали друг друга, воодушевляли, сплывались все неразделимой.

Как писатель я испытываю особую гордость оттого, что голоса ленинградских писателей звучали в эти дни в полную силу. Но искусство взойшло на общегородскую небывалую трибуну не только затем, чтобы митинговать, агитировать, призывать – нет, кроме этого оно еще и беседовало с согражданами – беседовало негромко, в полном смысле слова по душам, оно размышляло вслух над самыми острыми вопросами жизни, оно советовало, утешало, горевало и радовалось вместе с теми, кто ему внимал, проникая в их души тем путем, который известен лишь искусству.

Но если говорить о стиле митинговом, призывном, то ленинградец, живший в городе в дни блокады, никогда не забудет страстных выступлений по радио Всеволода Вишневского. Именно радио, стихия которого – звук, голос, тембр, целиком доносило до всех его неповторимую интонацию балтийского матроса времен «Авроры», времен взятия Зимнего, гражданской войны, ту интонацию, ту манеру, которая сама по себе была уже живой связью с революционной историей Питера – Ленинграда. И ведь эта манера – эта балтийская удаль, эта беззаветность «братишки» – уже однажды великолепно оправдала себя в дни Октябрьской революции, в войну гражданскую, и вот она вновь звучит, живая, подлинная, дорогая сердцу! Только балтийский «братишка» теперь очень возмужал, посуровел, и его страстные, порой сбивчивые речи так обнадеживали и так нужны были тогда, именно осенью сорок первого года, в отчаянные дни штурма, и именно городу, который не просто хранит традиции, а живет ими...

Недаром же почти каждое воззвание старых питерских рабочих к согражданам своим, к ополченцам, к армейцам заканчивалось клятвой: «Умрем, но не отдадим родного

Ленинграда!»

Почти такой же клятвой, как в 1917–1918 годах, что была написана на знаменах тех, кто шел защищать Петроград от Корнилова, от Керенского, от Юденича: «Умремь, но не отдадимь Красный Питерь!»

И это не было цитатой, это было живым криком души, и также истинно живыми, современными, а не «цитатными» были пламенные выступления Всеволода Вишневого с его неповторимой манерой балтийского революционного матроса.

Мне неоднократно выпадало счастье вместе с Всеволодом Витальевичем выступать на различных вечерах, или полднях, или утренниках в Ленинграде – в военных частях, на заводах и на радио. Слушать его было наслаждение и труд. Да, труд! Потому что в это время в тебе усиленно начинали трудиться сердце, мозг, и руки невольно сжимались в кулаки. Надо было слышать, ну, например, его выступление в дни 24-й Октябрьской годовщины:

– ...Предоктябрьская ночь: вечерний сумрак, привычный, ко всему готовый город на замерзшей Неве... Город-фронт живет, в нем по-прежнему бьется сердце революции. По-русски, по-ленински спокойный, уверенный. Репродукторы передают очерк Льва Толстого «Севастополь зимой 1854 года». Толпа стоит как зачарованная. Это рассказ о сегодняшних днях! – Толстовский «Четвертый бастион» – это сегодняшний Ленинград. Все, все у Толстого абсолютно точно, верно, как у нас сегодня. Спокойный русский героизм, скромный, чистый. И затемненный трамвай номер девять идет на передний край, на четвертый бастион... Великий город живет Октябрем, знает свою судьбу и себя. Он уверен в ней. Это труд, жертвы, верность, мужество, победа...

А его знаменитая речь в труднейшие дни, когда враг подходил к самой Москве, когда мы, ленинградцы, говорили: «Линия обороны Москвы проходит через сердце каждого ленинградца», – его речь «Слушай, родная Москва!»:

– Москва! Мы, ленинградцы, балтийцы, плечом к плечу с тобою, родная Белокаменная! Ты, Москва, ходила во многие бои, твой голос слушает весь мир; твои труды и праздники – откровение и завтрашняя перспектива человечества... Москва, двигай сейчас, не медля, все живое, боевое, честное – в бой...

Никаких сбоев, никакой дрожи, никаких срывов... Умиравшие балтийские матросы могут показать пример... И в преддверии смерти эти люди могли видеть и видели победу. Грядущую победу. Она придет! Она за зимними вьюгами, она там, дальше!..

Нет, цитировать кусочками это нельзя. Как хорошо, что почти вся эта речь сохранилась в магнитофонной записи.

И вспоминается мне еще одно выступление в передаче «Говорит Ленинград» – в конце сентября 1941 года, в дни жесточайших артиллерийских и воздушных налетов, выступление Анны Андреевны Ахматовой. Мы записывали ее не в студии, а в писательском доме, так называемом «недоскребе», в квартире М. М. Зощенко. Как назло, был сильнейший артобстрел, мы нервничали, запись долго не налаживалась. Я записала под диктовку Анны Андреевны ее небольшое выступление, которое она потом сама выправила, и этот – тоже уже пожелтевший – листок я тоже до сих пор храню бережно, как черновичок выступления Шостаковича. И если до сих пор, через два десятка лет, звучит во мне глуховатый и мудро-спокойный голос Шостаковича и почти клокочущий, то высокий, то страстно-низкий голос Вишневого, то не забыть мне и того, как через несколько часов после записи понесся над вечерним, темно-золотым, на минуту стихшим Ленинградом глубокий, трагический и гордый голос «музы плача». Но она писала и выступала в те дни совсем не как муза плача; а как истинная и отважная дочь России и Ленинграда.

Она говорила:

– Мои дорогие согражданки, матери, жены и сестры Ленинграда. Вот уже больше месяца, как враг грозит нашему городу пленом, наносит ему тяжелые раны. Городу Петра, городу Ленина, городу Пушкина, Достоевского и Блока, городу великой культуры и труда враг грозит смертью и позором. Я, как и все ленинградцы, замираю при одной мысли о том, что наш город, мой город может быть растоптан. Вся жизнь моя связана с Ленинградом – в

Ленинграде я стала поэтом, Ленинград стал для моих стихов их дыханием... Я, как и все вы сейчас, живу одной непоколебимой верой в то, что Ленинград никогда не будет фашистским. Эта вера крепнет во мне, когда я вижу ленинградских женщин, которые просто и мужественно защищают Ленинград и поддерживают его обычную, человеческую жизнь... Наши потомки отдадут должное каждой матери эпохи Отечественной войны, но с особой силой взоры их прикует ленинградская женщина, стоявшая во время бомбежки на крыше с багром и щипцами в руках, чтобы защитить город от огня; ленинградская дружинница, оказывающая помощь раненым среди еще горящих обломков здания... Нет, город, возраставший таких женщин, не может быть побежден. Мы, ленинградцы, переживаем тяжелые дни, но мы знаем, что вместе с нами – вся наша земля, все ее люди. Мы чувствуем их тревогу за нас, их любовь и помощь. Мы благодарны им, и мы обещаем, что мы будем все время стойки и мужественны...

Тут я сообразила, что не сказала, что передачи на эфир одновременно слушал и Ленинград, и вот почему Анна Ахматова обращалась и к ленинградцам. Но прежде всего это были передачи для Родины, и не только для нее – эти передачи мог слушать весь мир, – ведь они же шли в эфир. Было очень важно, чтоб наряду с голосами рядовых защитников города звучали голоса и тех людей, которых знала вся земля. Слушали, конечно, и фашисты. Слушали и записывали, как потом выяснилось, фамилии выступавших, мечтая, что рассчитаются с ними. Как известно из истории, этим параноидальным вожделениям не суждено было сбыться, и отрадно и гордо знать, что никто, решительно никто из ленинградских писателей никогда не отказывался выступать в этих передачах – наоборот, почитали за большую честь. Много раз как на город, так и на эфир с мужественными своими стихами, поэмами и очерками выступали Николай Тихонов, Александр Прокофьев, Виссарион Саянов, выступал дважды прилетавший в Ленинград весной 1942 года Александр Фадеев. У меня сохранился текст сердечного обращения к ленинградцам, переданного по нашему радио, Михаила Шолохова:

«Родные товарищи ленинградцы!

Мы знаем, как тяжело вам жить, работать, сражаться во вражеском окружении, О вас постоянно вспоминают на всех фронтах и всюду в тылу. И сталевар на далеком Урале, глядя на раскаленный поток металла, думает о вас и трудится не покладая рук, чтобы ускорить час вашего освобождения, и боец, разящий немецких захватчиков в Донбассе, бьет их не только за свою поруганную Украину, но и за те великие страдания, которые причинили враги вам – ленинградцам...

Мы жадно ждем тот час, когда кольцо блокады будет разорвано и великая Советская страна прижмет к груди исстрадавшихся героических сынов и дочерей овечьего вечной славой Ленинграда».

Почти все ленинградские писатели выступали по радио – одни чаще, другие реже, третьи почти непрерывно, причем в самых разных жанрах. Отлично, можно сказать вдохновенно, работал Владимир Волженин, причем в самом ходовом жанре – стихотворный фельетон, частушки, басни, высмеивавшие гитлеровцев, короткие сценки. У нас ведь еще была ежедневная особая передача, так называемая «Радиохроника». В ней сообщались последние новости с Ленинградского фронта, помещался очерк из жизни города, обязательно стихи и – как это ни странно может показаться теперешнему читателю – обязательно побольше... юмористического, вернее, сатирического, материала. Да, да, мы смеялись в то страшное время, и это отнюдь не был «юмор висельников»! Если хотите, в какой-то мере мы стремились следовать «грозному смеху» Маяковского. Мы высмеивали паникеров, болтунов, лодырей – всех, кто как редкие, но отвратительные инородные тела появлялись в суровом и чистом ленинградском коллективе. И, уж конечно, опрокидывали на проклятых фашистов целые ниагары сарказмов, иронии, поношений и издевательств – то есть всего того, чего они были достойны, не считая, разумеется, священной и раскаленной ненависти нашей,

отвращения и презрения.

Кроме Волженина хорошо, с огоньком работали в «Радиохронике» писатели М. Зошенко, Е. Шварц, И. Меттер, другие товарищи. «Радиохроника» нравилась горожанам и бойцам, нередко из военных частей к нам приходили за материалом, который понравился в передаче, для выступлений в агитбригадах. В декабре, когда Политуправление Балтфлота поручило мне составить маленький сборник «Балтфлот смеется», я воспользовалась некоторыми произведениями из нашей «Радиохроники», в частности прелестными «Сказками о черте» Евгения Шварца... Да, это было в декабре 1941 года, в уже обмершем, потухшем городе...

* * *

Уже в конце ноября появились на улицах города первые гробы, которые двигались не так, как подобает гробу, – важно, высоко над мостовой, а ползли на санках по самому снегу. Один район за другим погружался во тьму, подобную полярной ночи, – иссякала энергия, уходил из города свет, замирало движение. А люди слабели все больше и больше. Уже многие не могли делать длинных переходов пешком и целыми днями неподвижно лежали под грудой одежд и одеял в темных ледяных квартирах. Так ослабевший ленинградец, оторванный от предприятия, от коллектива, оказывался как бы еще раз обведенным вражеским кольцом – гитлеровец блокировал уже каждого в отдельности, гитлеровец делал ставку на распадение человеческого коллектива. И сплошь и рядом оказывалось, что у такого ослабевшего, полумирающего ленинградца существует только одна форма связи с внешним миром: это – «тарелка» радио. Отсюда, из этого черного круга на стене, доходили до человека людские голоса – значит, он еще не один! Значит, где-то за стенами его дома живут люди, живет город, страна – они борются, они сопротивляются... Даже если радио не говорило, а только стучал метроном – и то было легче, это означало, что город жив, что сердце его бьется.

Только одно радио в те дни утоляло неумиряющую потребность людей в искусстве. Ведь в городе не работал ни один театр, ни одно кино. Ни концертов, ни музыки – ничего не было. Множеству ленинградцев даже читать у себя дома было не под силу... Правда, по радио тоже очень долго не передавалось ни музыки, ни пения, но были зато обширные и ежедневные литературные передачи – и особенно много передавалось стихов... Поэзия в те дни в Ленинграде приняла на себя благородное бремя почти всего искусства.

Я думаю, что никогда больше не будут люди слушать стихи так, как слушали стихи ленинградских поэтов в ту зиму голодные, опухшие, еле живые ленинградцы. Мы знаем это потому, что они находили в себе силы даже писать об этом в радиокомитет, даже приходиться сюда за тем или иным запомнившимся им стихотворением; это были самые разные люди – студенты, домохозяйки, военные. Бессмертным свидетельством величия духа ленинградцев останется эта деталь первой блокадной зимы – способность в таком кошмаре, среди таких физических и нравственных терзаний отзываться на поэзию, на искусство.

Письма, которые получила я зимой 1941/42 года на свои передачи, в частности на передачу под Новый, 1942 год, останутся для меня на всю жизнь самой высокой наградой.

В радиокомитет приходили также заявки на чтение классической и советской литературы. В январе были особые передачи – «Чтения с продолжением». Был прочитан ряд отрывков из «Илиады» Гомера, а артист М. Янкевский читал несколько дней подряд «Педагогическую поэму». Янкевский был очень плох, он почернел, еле дышал, но Макаренко был когда-то его учителем, и артисту страстно хотелось дочитать цикл.

Однажды он пришел в таком состоянии, что Бабушкин шепнул:

– Боюсь, что он не дочитает сегодня... – И вместе с ним – на всякий случай – пошел в студию.

Но Янкевский дочитал цикл, он живет и работает до сих пор. А как много (и как хорошо!) читала по радио любимица маленьких радиослушателей Маша Петрова – ныне

заслуженная артистка республики!

Из этих передач – «Чтения с продолжением» – постепенно родился «Театр у микрофона». У микрофона артисты радиокомитета стали разыгрывать целые пьесы, преодолевая голод, слабость, быструю утомляемость. Репетировали по частям печатавшуюся в «Правде» пьесу А. Корнейчука «Фронт», затем исполняли ее перед микрофоном, затем, некоторое время спустя, перенесли на сцену. Так к концу сорок второго года из артистов радиокомитетского «Театра у микрофона» и артистов 1-й фронтовой агитбригады в осажденном городе родился под вой и свист снарядов и бомб (без всякого метафорического преувеличения – увы!) новый театр, где все, от режиссера В. Мойковского, артиста М. Янкевского до рабочих сцены, были самыми подлинными и рядовыми защитниками Ленинграда. Театр успешно работал, в 1962 году он отметил свое двадцатилетие – он называется теперь театром имени Комиссаржевской, он популярен и любим не только в Ленинграде, но и в стране, по городам которой ежегодно дает он гастроли с неизменным успехом. Я счастлива, что вот уже третий год в репертуаре этого театра есть и моя пьеса – о самых суровых днях блокады, об ее героической и трагической зиме 1941/42 года, что в одном эпизоде звучит мой голос – пленка сохранившегося чудом выступления перед новым, 1942 годом. Пьеса называется «Рождены в Ленинграде». На премьере ее все артисты и работники театра, не сговариваясь, и – что самое удивительное и трогательное – множество зрителей пришли с медалями «За оборону Ленинграда». Не ради пустого хвастовства говорю я это, но для того, чтоб лишний раз подчеркнуть, как умеет хранить город-герой свои революционные и боевые традиции – хранить не умственно, а всем сердцем. А на юбилее «блокадного театра» в октябре 1962 года многих и многих пришлось помянуть нам добрым словом и вставанием, и все с глубоким душевным трепетом вспоминали славные дни «Театра у микрофона»...

В великом сопротивлении Ленинграда, которое требовало прежде всего единения коллектива, Ленинградское радио сыграло роль огромнейшую.

Ведь мы и начали-то рассуждать о книге «Говорит Ленинград» и оглянулись на немислимый путь, сделанный городом, на историю его Главной Трибуны – радиокомитета – потому, что в тот вечер – третий вечер почти полного безмолвия в Ленинграде – в радиокомитет начали приходить люди из заснеженных недр города, страшные люди в тряпичных масках... Их было много, и все они пришли с одним тревожным вопросом: почему замолчало радио? Скоро ли оно заговорит опять? Нельзя ли, чтоб это было сейчас же, немедленно – иначе совсем уже невозможно жить.

– Нет уж... знаете! – сказал один старик с палочкой в каждой руке, пришедший откуда-то с Васильевского острова, – если что-нибудь еще надо... в смысле стойкости... пожалуйста... еще... и даже с прибавкой можно дать. Но радио пусть говорит. Без него страшно! Без него лежишь как в могиле. Совсем как в могиле.

* * *

И вот все это – сентябрьскую речь 1941 года Д. Д. Шостаковича, и выступление матери, потерявшей под развалинами детей, и жгучие речи Вишневского, и строгие военные стихи Н. Тихонова, и боевые частушки Волженина, и отдельные целые передачи на эфир, и «Радиохроника», и рассказы партизан о том, как помогал им голос Ленинграда, – предполагали мы внести в первую часть книги «Говорит Ленинград».

...И наши зимние передачи («Говорит Ленинград», «Радиохроника» даже и в эти дни – жили!) с репортажем с оборонного завода, где голодные комсомольцы ремонтировали танки и называли их то «Смерть Гитлеру», то «Победа», со стихами Маяковского «...Но шепот громче голода – он кроет каплей спад: «Через четыре года здесь будет город-сад!...», с речами, стихами и выступлениями ленинградских писателей, с «Театром у микрофона» и письмами радиослушателей, с описанием фантастического быта работников радиокомитета (дни празднования пятидесятой и сотой «Радиохроники» чего стоят!) мы тоже включили в

план книги «Говорит Ленинград».

И здесь я хочу сделать одно небольшое, но очень важное дополнение. Тогда, в лихорадочно-вдохновенную ночь 10 января 1942 года, мы включали в план книги, еще не зная очень и очень многого, вернее, не предвидя его. Так, мы включали рассказ и выступление Шостаковича о том, как он пишет Седьмую симфонию, не зная о том, что уже в марте этого же, 1942 года она будет исполнена в Москве и будет названа и самим композитором, и всей землей – «Ленинградской симфонией», и даже будет исполнена в этом же году у нас, в осажденном городе – и кем?! – нашим же радиокомитетским оркестром! Наши оркестранты почти не играли зимой – не хватало сил, не хватало дыхания, особенно духовым – «диафрагме не на что было опереться». Оркестр таял. Некоторые ушли в армию, другие умерли от голода. Трудно забыть мне серые, зимние рассветы, когда совершенно уже свинцово отекший Яша Бабушкин диктовал машинистке очередное донесение о состоянии оркестра.

– Первая скрипка умирает, барабан умер по дороге на работу, валторна при смерти, – отчужденным, внутренне отчаянным голосом диктовал он.

И все же те, кто оставался, – главным образом на казарменном положении при радиокомитете, – помимо службы ПВО, не оставляли и своей основной работы. Самоотверженно работал, репетировал с ними в обледеневших студиях какие-то наиболее доступные им по физическим силам произведения Карл Ильич Элиасберг. А когда пришла весть об исполнении Седьмой – «Ленинградской симфонии», а затем самолет доставил в радиокомитет ее партитуру, почти несбыточным желанием загорелся оркестр – исполнить ее здесь, на ее родине, в осажденном, полуумирающем, но не сдававшемся и не сдающемся городе! Но с первого же взгляда на партитуру Элиасберг понял, что это практически невозможно: гениальная, могучая партитура требовала удвоенного оркестра, – почти сто человек, а в радиокомитете осталось к весне всего пятнадцать живых музыкантов. И все же вместе с художественным руководителем радиокомитета Бабушкиным, вместе с тогдашним исполняющим обязанности председателя радиокомитета Виктором Антоновичем Ходоренко было решено: Седьмую – исполнить в Ленинграде.

На помощь пришел городской комитет партии: во-первых, он выделил оркестрантам дополнительную ежедневную кашу без выреза – кажется, к тому времени это составляло уже целых сорок граммов крупы или соевых бобов. По Ленинграду был через радио объявлен призыв ко всем музыкантам, находящимся в городе, – явиться в радиокомитет для работы в оркестре. Музыканты не могли не откликнуться на этот призыв. Пришел истощенный, но, как всегда, строгий и собранный орденосец Заветновский, концертмейстер, первая скрипка Филармонии. Пришел семидесятилетний старейший артист Ленинграда валторнист Нагорнюк – он играл еще в тех оркестрах, которыми дирижировал Римский-Корсаков, Направник, Глазунов. Сын Нагорнюка, красноармеец, демобилизованный после тяжелого ранения, эвакуировался из города и умолял отца поехать с ним, но спокойно отказался старый музыкант от эвакуации. Разве мог он не играть в Седьмой симфонии?!

И все-таки музыкантов не хватало. Тогда Политуправление фронта и Пубалт отдали распоряжение прикомандировать к сводному городскому оркестру лучших музыкантов из армейских и флотских оркестров! Так защитники Ленинграда начали поднимать свою симфонию...

И вот 9 августа 1942 года после долгого запустения ярко, празднично озарился белоколонный зал Филармонии и до отказа наполнился ленинградцами. С фронта, откуда можно было прийти или приехать на трамвае (они вновь стали ходить весной на наших улицах), с прифронтовых заводов подходили и подходили рабочие, сооружающие оружие обороны и наступления Ленинграда; архитекторы, уже проектирующие его возрождение; учителя, диктовавшие детям диктанты в бомбоубежищах; писатели и поэты, не складывавшие пера в самое лютое время недавно миновавшей зимы; солдаты, офицеры, советский и партийный актив города Ленина.

На сцену вышли музыканты. Огромная эстрада Филармонии была тесно заполнена – за

пультами сидел сводный городской оркестр. Здесь было ядро его – музыканты радиокомитета артисты И. Ясинявский, потушивший первую «зажигалку» на крыше радиокомитета, начальник пожарного звена скрипач А. Прессер, музыканты А. Сафонов и Е. Шах, рывшие окопы близ Пулкова; здесь сидели музыканты в армейских гимнастерках и флотских бушлатах – здесь сидели защитники Ленинграда, готовые, как и в предыдущие дни, в любое мгновение отдать жизнь за родной город, за Родину, за народ.

За дирижерский пульт встал Карл Ильич Элиасберг, – он был во фраке, в самом настоящем фраке, как и полагается дирижеру, и фрак висел на нем, как на вешалке, – так исхудал он за зиму... Мгновение полной тишины, и вот – началась музыка. И мы с первых тактов узнали в ней себя и весь свой путь, всю уже тогда легендарную эпопею Ленинграда: и наступающую на нас страшную, беспощадную, враждебную силу, и наше вызывающее сопротивление ей, и нашу скорбь, и мечту о светлом мире, и нашу несомненную грядущую победу. И мы, не плакавшие над погибающими близкими людьми зимой, сейчас не могли и не хотели сдерживать отрадных, беззвучных, горючих слез, и мы не стыдились их... А нам, радиоработникам, сквозь изумительную эту музыку еще все время звучал и негромкий, спокойный и мудрый голос ее создателя Дмитрия Шостаковича, доносящийся из сентября 1941 года, когда враг рвался в город Ленина:

«Заверяю вас, товарищи, от имени всех ленинградцев, что мы непобедимы и всегда стоим на своем боевом посту...»

* * *

...Мы записали в ту ночь – 10 января 1942 года – в плане: «Прорыв блокады», хотя не знали еще, как это будет. Повторяю, нам казалось тогда, что это будет очень скоро, но прошел целый неимоверно трудный год, весь 1942-й, прежде чем была прорвана блокада.

Все, что происходило тогда в здании радиокомитета, происходило стихийно, без плана, без подготовки – музыка, стихи, написанные тут же, речи, – все это шло сплошным ликующим потоком, и нас слышали соединившийся с нами Волховский фронт, вся страна, весь мир. И для нас, работников радио, самой лучшей наградой было то, что в эту праздничную, счастливую ночь со всех сторон шли и бежали ленинградцы к нам – в радиокомитет, к любимой своей, к истинно народной трибуне!

Одна старушка шла из Новой Деревни всю ночь, а когда милиционеры спрашивали у нее ночной пропуск, она отвечала:

– Я на радио, милый, проздравить ленинградцев.

И милиционеры пропускали ее. Она пришла под утро и «проздравила».

Другая женщина, домохозяйка, рассказывала мне:

– Услыхала в «Последний час», что блокада прорвана, заплакала, бегаю по комнате, ищу – кого бы обнять, за кого бы схватиться, да никого, кроме меня, в квартире-то нет... Думаю – надо к вам на радио бежать... Да боюсь квартиру оставить. Уж я около «тарелки» встала и до утра слушала – все не одна.

И хотя после прорыва блокада длилась еще целый год с изнурительнейшими обстрелами, с бомбежками, с новыми испытаниями, хотя только через год настал праздник полной и блистательной ликвидации блокады – ленинградцы вспоминают ночь с 18 на 19 января как ночь наивысшей радости, как ночь, когда все сердца предельно были открыты друг другу. И в воспоминание об этой светлой ночи обязательно вплетается радио, которое пело и говорило первый раз до самой зари, и весь мир слышал, как говорит Ленинград...

* * *

Книга «Говорит Ленинград» не была составлена. Вместо нее к годовщине разгрома немцев под Ленинградом в 1945 году был создан радиofilm «Девятьсот дней» – фильм, где нет изображения, но есть только звук, и звук этот достигает временами почти зрительной

силы... Этот фильм – художественный, своеобразный монтаж документальных радиозаписей, начиная с первых дней войны и кончая разгромом немцев под Ленинградом. Вы слышите в нем живые голоса ленинградцев, их выступления, начиная с июня 1941 года; слышите свист снарядов и грохот разрывов, и слезы матери над раненым ребенком на улице Рубинштейна, 26, и гудок первого поезда, пришедшего с Большой Земли в феврале 1943 года, и речь Вишневого, и много-много другого – уже отгремевшего, отговорившего, отзвучавшего навсегда.

Этот фильм создан совместным трудом работников радиокомитета, всю войну работавших здесь, – главного инженера Н. Свиридова, военных корреспондентов радиокомитета Л. Маграчева и Г. Макогоненко, оператора Любви Спектор, тонмейстера Н. Рогова. Если бы был жив Бабушкин, он обязательно принимал бы участие в создании этого фильма. Но Яша Бабушкин погиб. Мы боялись, что он не выдержит тягот блокады, умрет от голода. Но он выстоял, выжил, голоду не удалось сломить его. Он погиб как рядовой солдат под Нарвой, в боях за окончательную ликвидацию блокады, в феврале 1944 года.

...Я сказала, что радиofilm «Девятьсот дней» создан вместо книги «Говорит Ленинград», – я неправильно сказала. Такая книга нужна, и она еще будет. А я вспомнила о ней и о той далекой ночи, потому что мой сборник «Говорит Ленинград» составлен целиком из моих радиовыступлений, начиная с декабря 1941 года по июнь 1945-го, и каждое из них предварялось словами: «Говорит Ленинград...» Эта статья – широко дополненное вступление к сборнику, который первый раз вышел в 1946 году.

* * *

Я работала в радиокомитете с начала войны, и в мою книжку «Говорит Ленинград», разумеется, отобрано лишь немного из того, что я писала для вещания (я писала почти ежедневно и для всех отделов), а сама книжка – только малая часть той небывалой сердечной беседы людей одной судьбы, которую они вели между собою по радио целые годы – в дни штурма, в дни голода, в дни наступления, в первые дни победы. Я счастлива, что и мне выпала честь принять участие в этой неповторимой непрерывной, честнейшей беседе воинов и тружеников Ленинграда, что очень многие мои стихи были написаны для радио – для Большой Земли на эфир, для моих сограждан. Даже «Февральский дневник» писала я в феврале сорок второго года для радио ко Дню Красной Армии, потому-то и построен он как лирический разговор с ленинградцами.

Работа в Ленинградском радиокомитете во время блокады дала мне безмерно много и оставила неизгладимый след в жизни моей. Всегда с чувством глубочайшей благодарности, уважения и любви буду вспоминать я эти нелегкие годы и весь трудолюбивый, скромный, поистине героический коллектив Ленинградского радиокомитета...

...Я знаю, слишком знаю это зданье.
И каждый раз, когда иду сюда,
все кажется, что вышла на свиданье
сама с собой, такой же, как тогда.

Но это больше чем воспоминанье.
Я не боюсь самой себя – вчерашней.
На все отвечу, если уж пришла, –
вот этой серой, беспощадной, страшной,
глядящей из блокадного угла.

Я той боюсь, которая однажды
на Мамисоне
искрящимся днем

глядела в мир с неукротимой жаждой
и верила во всем ему, во всем...
Но это больше чем воспоминанье –
я не о ней.
Я о гранитном зданье.

Здесь, как в бреду, все было смещено:
здесь умирали, стряпали и ели,
а те, кто мог еще
вставать с постелей,
пораньше утром,
растемнив окно,
в кружок усевшись,
перьями скрипели.
Отсюда передачи шли на город –
стихи, и сводки,
и о хлебе весть.
Здесь жили дикторы и репортеры,
поэт, артистки... всех не перечеть.

Они давно покинули жилища
там, где-то в недрах города,
вдали;
они одни из первых на кладбища
последних родственников отвезли
и, спаяны сильнее, чем кровью рода,
родней, чем дети одного отца,
сюда зимой сорок второго года
сошлись – сопротивляться до конца.

Здесь, на походной койке-раскладушке,
у каменки, блокадного божка,
я новую почувствовала душу,
самой мне непонятную пока.

Я здесь стихи горчайшие писала,
спеша, чтоб свет использовать дневной...
Сюда, в тот день,
когда я в снег упала,
ты и привел бездомную – **домой** .

...Я посвятила свою книжку «Говорит Ленинград» прекрасной памяти Якова Бабушкина, погибшего под Нарвой в боях по ликвидации блокады; памяти работников радиокомитета Николая Верховского, Всеволода Римского-Корсакова, Леша Мартынова, поэта Владимира Волженина, умерших от голода в феврале сорок второго года; памяти нашей военной радиокорреспондентки Ани Васильевой, убитой на фронте в командировке, – памяти всех работников и сотрудников Ленинградского радиокомитета, отдавших свои жизни за наш город.

Они были настоящими солдатами и людьми. Они любили Ленинград, труд, искусство, жизнь. Они сделали для победы все, что могли... Им так хотелось увидеть ее! Недаром в самые черные дни так часто и взволнованно, думая о сегодняшнем времени, твердил Яша Бабушкин:

Крикну я
вот с этой,
с нынешней страницы:
– Не листай страницы!
Воскреси!

1946–1967

«Живы, выдержим, победим!»

Дорогие товарищи!

Послезавтра мы будем встречать Новый год. Год тысяча девятьсот сорок второй.

Еще никогда не было в Ленинграде такой новогодней ночи, как нынешняя. Мне незачем рассказывать вам, какая она. Каждый ленинградец знает об этом сам, каждый чувствует сейчас, вот в эту минуту, ее небывалое дыхание... И все-таки, вопреки всему, да будет в суровых наших жилищах праздник!

Ведь мы встречаем тысяча девятьсот сорок второй в своем Ленинграде – наша армия и мы вместе с ней не отдали ее немцу, не дали ему вторгнуться в город. Наш город в кольце, но не в плену, не в рабстве.

Это уже безмерно много.

Да, нам сейчас трудно... Вот уже пятый месяц враг пытается убить в нас волю к жизни, сломить наш дух, отнять веру в победу. Но мы верим... нет, не верим – знаем – она будет! Ведь немцев уже отогнали от Москвы, ведь наши войска отбили обратно Тихвин. Победа придет, мы добьемся ее, и будет вновь в Ленинграде и тепло, и светло, и даже... весело... И, может быть, товарищи, мы увидим наш сегодняшний хлебный паек, этот бедный, черный кусочек хлеба, в витрине какого-нибудь музея... И мы вспомним тогда наши сегодняшние – декабрьские – дни с удивлением, с уважением, с законной гордостью.

Позвольте же мне, дорогие товарищи, перед наступающим Новым годом прочесть вам два стихотворения. Они называются «Письма на Каму». Первое «Письмо на Каму» написано в сентябре этого года, в дни, когда враг пытался штурмом овладеть нашим городом.

Я знаю – далеко на Каме
тревожится, тоскует мать.
Что написать далекой маме?
Как успокоить? Как солгать?

Она в открытках каждой строчкой,
страшась и всей душой любя,
все время молит:
«Дочка, дочка,
прошу, побереги себя...»

О, я любой ценою рада
тревогу матери унять.
Я напишу ей только правду.
Пусть не боится за меня.

«Я берегу себя, родная.
Не бойся, очень берегу:
я город наш обороняю
со всеми вместе, как могу.

Я берегу себя от плена,
позорнейшего на земле.
Мне кровь твоя, чернея в венах,
диктует: гибель, но не плен!
Не бойся, мама, я не струшу,
не отступлю, не побегу.
Вращенную тобою душу
непобежденной сберегу.
Не бойся, нет во мне смятенья,
еще надолго хватит сил:
победоносному терпенью
недаром Ленин нас учил.
Не бойся, мама, – я с друзьями,
а ты люби моих друзей...»

... Так я пишу далекой маме.
Я написала правду ей.

Я не пишу – и так вернее, –
что старый дом разрушен наш,
что ранен брат, что я старею,
что мало хлеба, мало сна.
И главная, быть может, правда
в том, что не все узнает мать.
Ведь мы залечим эти раны,
мы всё вернем себе опять.
И сон – спокойный, долгий, теплый,
и песни с самого утра,
и будет в доме, в ясных стеклах
заря вечерняя играть...

И я кричу знакомым людям:
– Пишите правду матерям.
Пишите им о том, что будет.
Не жалуйтесь, что трудно нам...

И второе письмо на Каму, написанное теперь, в декабре:

... Вот я снова пишу на далекую Каму.
Ставлю дату: двадцатое декабря.
Как я счастлива, что горячо и упрямо
штемпеля Ленинграда на конверте горят.
Штемпеля Ленинграда! Это надо понять.
Все защитники города понимают меня.

Ленинградец, товарищ, оглянись-ка назад,
в полугодье войны, изумляясь себе:
мы ведь смерти самой поглядели в глаза.
Мы готовились к самой последней борьбе.

Ленинград в сентябре, Ленинград в сентябре...
Златосумрачный, царственный листопад,

скрежет первых бомбежек, рыданье сирен,
темно-ржавые контуры баррикад.

Только все, что тогда я на Каму писала,
все, о чем я так скупко теперь говорю, –
ленинградец, ты знаешь, – было только началом,
было только вступленьем к твоему декабрю.

Ленинград в декабре, Ленинград в декабре!
О, как ставенки стонут на темной заре,
как угрюмо твое ледяное жильё,
как врагами изранено тело твое...

Мама, Родина светлая, из-за кольца
ты твердишь:
«Ежечасно гордимся тобой».
Да, мы вновь не отводим от смерти лица,
принимаем голодный и медленный бой.

Ленинградец, мой спутник,
мой испытанный друг,
нам декабрьские дни сентября тяжелей.
Все равно не разнимем
слабеющих рук:
мы и это, и это должны одолеть.

Он придет, ленинградский торжественный полдень,
тишины, и покоя, и хлеба душистого полный.
О, какая отрада,
какая великая гордость
знать, что в будущем каждому скажешь в ответ:
– Я жила в Ленинграде
в декабре сорок первого года,
вместе с ним принимала
известия первых побед.
...Нет, не вышло второе письмо
на далекую Каму.
Это гимн ленинградцам – опухшим, упрямым, родным.
Я отправлю от имени их за кольцо
телеграмму: «Живы. Выдержим. Победим!»

29 декабря 1941

Ленинградцы за кольцом

Я хочу рассказать вам, товарищи, о ленинградцах за кольцом.

Недавно я летала в Москву, в командировку, и на днях вернулась оттуда.

Мы вылетели из Ленинграда ранним утром первого марта, и наш самолет шел на бреющем полете над толпами маленьких елок, над игрушечными деревьями, над озером – сплошной, ровной снежной равниной.

«Здесь проходит наша Дорога жизни», – думала я и не видела ее из окна самолета. Ни дороги, ни одного человека, ни малейшего признака жизни незаметно сверху – где ж тут

кольцо, где ж война? Леса и поляны, захватывающий дыхание огромный простор – Родина. Какая она огромная, о, какая огромная, какая красивая, печальная и – тихая-тихая. Но я знаю – она воюет, воюет каждая ее пядь. А за елками, за снегом, за озером, в кольце – Ленинград. Города не было видно, но все пассажиры самолета смотрели в его сторону. Одни из них покидали Ленинград надолго, быть может навсегда, другие – временно, но все мы были исполнены одним чувством: это чувство какой-то новой, личной ответственности и глубокой тревоги за оставленный Ленинград; это острая тоска о нем, возникающая сразу же, как только от него оторвешься.

А мне все вспоминались стихи Маяковского, тоже по-новому, по-ленинградски звучащие теперь для нас:

Землю,
где воздух
как сладкий морс,
бросишь
и мчишь, колеся, –
но землю,
с которою
вместе мерз,
вовек
разлюбить нельзя.

...Через три дня по приезде в Москву в комнату ко мне постучался незнакомый человек.

– Простите, – сказал он, – я случайно услышал, что вы прилетели из Ленинграда. Я тоже ленинградец! Ну, пожалуйста, поскорее расскажите. Ну как он? Что там?

Я стала рассказывать ему о февральском Ленинграде. Вы все знаете, какой он был. Я рассказала ему все.

– Ох, как я хочу поскорее обратно! – воскликнул он, окончив жадные и тревожные расспросы. – Меня вызвали сюда в конце января. Вы понимаете, вот эта гостиница, тепло, свет – это все отлично, и работы у меня много, но как я тоскую о Ленинграде. Вы понимаете? Ведь там – жизнь... Я не могу яснее выразиться. И голод и смерть, но такая жизнь!

Я вздрогнула, услышав эти слова. Я тоже не могу яснее выразиться, но я вдруг сердцем поняла, как правильно сказал он о нашем Ленинграде: да, да, жизнь, особая, высокая Жизнь!

Это был директор одного ленинградского оборонного завода. Я забыла спросить его имя и фамилию – для меня важнее всего было, что он ленинградец! Его вызвали в Москву для того, чтобы он внедрил на заводе Москвы ленинградский опыт работы. Вы слышите, товарищи: оказывается, в блокаде, в тягчайших бытовых и производственных условиях, наши рабочие и инженеры научились работать с такой экономией, быстротой и изобретательностью, что у них учатся теперь самые передовые предприятия за кольцом! Это наша великая гордость, гордость труженников.

А если бы вы слышали только, товарищи, с каким восторгом говорят за кольцом о наших Кировцах. Вы помните, в октябре они были награждены правительством за выпуск мощных танков. Вы знаете, что часть Кировского завода переведена в глубь страны для того, чтобы в более спокойных условиях продолжать свою работу. Надо было обосноваться на совершенно новом месте и начать выпуск движущихся крепостей немедленно – ведь война не ждет. И наши Кировцы выполнили свою тяжелую задачу с тем новым, ленинградским упорством и энтузиазмом, которые рождены были в их сердцах здесь в сентябрьские – октябрьские дни 1941 года.

Я слышала это от работников Наркомата танковой промышленности у писателя Михаила Шолохова. Михаил Александрович только что приехал на несколько дней в Москву с Южного фронта. В тот вечер у него были довавторцы – командиры казачьих частей генерала

Доватора, одного из славнейших защитников Москвы, были инженеры, писатели. Шолохов передал мне небольшое письмо и просил его прочесть вам по возвращении в Ленинград.

Вот что написал Михаил Шолохов:

«Родные товарищи ленинградцы! Мы знаем, как тяжело вам жить, работать, сражаться во вражеском окружении. О вас постоянно вспоминают на всех фронтах и всюду в тылу. И сталевар на далеком Урале, глядя на расплавленный поток металла, думает о вас и трудится не покладая рук, чтобы ускорить час вашего освобождения. И боец, разящий немецких захватчиков в Донбассе, бьет их не только за свою поруганную Украину, но и за те великие страдания, которые причинили враги вам, ленинградцам. Мы жадно ждем того часа, когда кольцо блокады будет разорвано и великая страна прижмет к груди исстрадавшихся героических сынов и дочерей овеянного вечной славой Ленинграда».

* * *

...Со словами писателя Михаила Шолохова перекликается письмо, переданное мне для ленинградских женщин работницами одного московского завода.

Я выступала на этом заводе в обеденные перерывы с рассказами и стихами о Ленинграде.

Начиная беседу в первом цехе, я сказала: «Товарищи, к сожалению, я сумею рассказать вам немного – у нас мало времени...»

Несколько голосов почти возмущенно перебило меня:

– Рассказывайте, рассказывайте! Мы окончим работу позже.

И не отпускали, с огромной любовью расспрашивая о ленинградцах, о ленинградском быте, заводах, фронте. Они задавали самые разнообразные вопросы... Например, спросили: «Правда ли, что в Ленинграде была норма по двести пятьдесят граммов хлеба в день?» Я ответила, что было даже и сто двадцать пять граммов.

Спрашивали: неужели же враг так близко, что стреляет из дальнобойных орудий по центру города и что обстрел может начаться в любую минуту? Правда ли, что воду берут ведрами прямо из Невы?.. Расспрашивали: как же работают во время обстрелов на заводах?.. И столько заботы, столько тревоги было в их вопросах, иногда для нас наивных, что становилось теплее на сердце.

А в цехе, где работают исключительно женщины, многие даже не пошли обедать, узнав, что будет беседа о Ленинграде, сбегали в другие цеха и привели товарок. Надо было видеть, какими строгими становились лица женщин, когда слушали они о ленинградских работницах, матерях и домохозяйках. И они даже не рукоплескали, когда я кончила, понимая, что рукоплесканиями не выразить чувства сострадания к ленинградцам, чувства гордости ими.

Вот их письмо, письмо москвичек, где за коротеньким текстом из двух страниц теснятся десятки подписей:

«Женщины-ленинградки! Мы, работницы московского завода, шлем вам теплый, дружеский привет. Слушая выступление одного из ленинградских товарищей, мы восхищались вашей стойкостью, вашим мужеством, дорогие женщины.

Мы верим, что недалек тот день, когда вы вздохнете свободно и лица ваши озарятся улыбкой. Вы в вашей борьбе не одни. За кольцом блокады о вас думают, вам помогают тысячи, миллионы людей. Мужайтесь, товарищи! Победа над врагом искупит все ваши страдания.

Аня Кузьмич, Фролова, Плешакова, Платонова... »

И много, много других подписей, и все – разборчивые, старательно выведенные, –

пусть знают ленинградки имена своих верных друзей.

Они пишут – «победа искупит ваши страдания...» Верно. Но уже сейчас – и за кольцом это особенно ясно – видно, что не было и нет у нас в Ленинграде напрасных испытаний, неоправданных жертв и ненужного мужества. Нет такого. Все, что мы пережили и вынесли, все, что мы утратили, уже сейчас оправдано тем, что придает людям страны новые силы в борьбе с врагом.

...Ленинградца, только что приехавшего за кольцо, можно узнать сразу: блокада наложила на облик каждого из нас свои сумрачные краски. И взгляд у ленинградца особый – горький и какой-то всезнающий, – и руки, сколько ни мой, всё остаются темными, как и лицо... Но не каким-то «несчастеньким» приезжает за кольцо ленинградец: нет, он приезжает трудиться там, он выступает не с жалобами на ленинградский быт, а как влюбленный сын, хозяин и защитник Ленинграда.

Наш поэт Николай Тихонов, приехавший в Москву в феврале, работал непрерывно: он писал и печатал статьи о Ленинграде, стихи, рассказы, очерки; страстно выступал на митингах – молдаванском, всеславянском, и с остановившимся дыханием слушали слова ленинградца представители борющихся с гитлеровскими захватчиками народов.

А 29 марта в Москве впервые исполнялась Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича.

Седьмую симфонию Шостакович писал в Ленинграде и в один из сентябрьских дней рассказывал нам об этом по радио. Ведь мы помним, какие вечера, какие дни были у нас в сентябре сорок первого года!

А Шостакович тогда говорил:

– Час тому назад я закончил партитуру второй части моего нового большого симфонического сочинения. Итак, мною уже написаны две части. Работаю я над ними с июля месяца тысяча девятьсот сорок первого года. Несмотря на военное время, несмотря на опасность, угрожающую Ленинграду, я в довольно быстрый срок написал две части симфонии. Я работаю сейчас быстро и легко. Мысль моя ясна, и творческая энергия неудержимо заставляет меня двигать мое сочинение к окончанию...

И вот 29 марта 1942 года объединенный оркестр Большого театра и Всесоюзного радиокомитета исполнил Седьмую симфонию, которую композитор посвятил Ленинграду, назвал Ленинградской.

В Колонный зал Дома Союзов пришли известные всей стране летчики, писатели, стахановцы. Тут было много фронтовиков – с Западного фронта, с Южного, с Северного, – они приехали в Москву по делам, на несколько дней, с тем чтобы завтра вновь отправиться на поля сражения, и все же вырвали время прийти послушать Седьмую – Ленинградскую – симфонию. Они надели все свои ордена, пожалованные им Республикой, и все были в лучших своих платьях, праздничные, красивые, нарядные. А в Колонном зале было очень тепло, все были без пальто, горело электричество, и даже пахло духами.

Первые звуки Седьмой симфонии чисты и отрадны. Их слушаешь жадно и удивленно – так вот как мы когда-то жили, до войны, как мы счастливы-то были, как свободны, сколько простора и тишины было вокруг. Эту мудрую, сладостную музыку мира хочется слушать без конца. Но внезапно и очень тихо раздается сухое потрескивание, сухая дробь барабана – шепот барабана. Это еще шепот, но он все неотступнее, все назойливее. Короткой музыкальной фразой – печальной, монотонной и вместе с тем какой-то вызывающе веселой – начинают перекликаться инструменты оркестра. Сухая дробь барабана громче. Война. Барабаны уже гремят. Короткая, монотонная и тревожная музыкальная фраза овладевает всем оркестром и становится страшной. Музыка бушует так, что трудно дышать. От нее никуда не деться... Это враг наступает на Ленинград. Он грозит гибелью, трубы рычат и свищут. Гибель? Ну что же – не боимся, не отступим, не отдадим себя в плен врагу. Музыка бушует неистово... Товарищи, это о нас, это о сентябрьских днях Ленинграда, полных гнева и вызова. Яростно гремит оркестр – все в той же монотонной фразе звенят фанфары и неудержимо несут душу навстречу смертельному бою... И когда уже нечем дышать от грома и рева оркестра, вдруг все обрывается, и в величественный реквием переходит тема войны.

Одинокий фагот, покрывая бушующий оркестр, поднимает ввысь свой низкий, трагический голос. И потом поет один, один в наступившей тишине...

«Я не знаю, как охарактеризовать эту музыку, – говорит сам композитор, – может быть, в ней слезы матери или даже чувство, когда скорбь так велика, что слез уже не остается».

Товарищи, это про нас, это наша великая бесслезная скорбь о наших родных и близких – защитниках Ленинграда, погибших в битвах на подступах к городу, упавших на его улицах, умерших в его полуслепых домах...

Мы давно не плачем, потому что горе наше больше слез. Но, убив облегчающие душу слезы, горе не убило в нас жизни. И Седьмая симфония рассказывает об этом. Ее вторая и третья части, тоже написанные в Ленинграде, – это прозрачная, радостная музыка, полная упоения жизнью и преклонения перед природой. И это тоже о нас, о людях, научившихся по-новому любить и ценить жизнь! И понятно, почему третья часть сливается с четвертой: в четвертой части тема войны, взволнованно и вызывающе повторенная, отважно переходит в тему грядущей победы, и музыка свободно бушует опять, и немислимой силы достигает ее торжественное, грозное, почти жестокое ликование, физически сотрясающее своды здания.

Мы победим немцев.

Товарищи, мы обязательно победим их!

Мы готовы на все испытания, которые еще ожидают нас, готовы во имя торжества жизни. Об этом торжестве свидетельствует «Ленинградская симфония», произведение мирового звучания, созданное в нашем осажденном, голодающем, лишенном света и тепла городе, – в городе, сражающемся за счастье и свободу всего человечества.

И народ, пришедший слушать «Ленинградскую симфонию», встал и стоя рукоплескал композитору, сыну и защитнику Ленинграда. А я глядела на него, маленького, хрупкого, в больших очках, и думала:

«Этот человек сильнее Гитлера...»

...Недавно, с группой других ленинградцев, бывших за кольцом, я вернулась обратно. Было ясное апрельское утро, когда мы приземлились в Ленинграде.

– Ну вот и дома, – говорил один майор и все время топал ногой по плотной земле аэродрома. – Ну вот и дома. Здорово-то как, а? Ух, рад, что вернулся! (Он засмеялся.) Уж конечно, с сегодняшнего вечера опять поясок придется потуже затянуть... Ну ничего, ничего... зато – дома. Живем!

Скоро мы выехали с аэродрома и, когда попали в город, часть пути прошли пешком – нарочно, чтоб лучше разглядеть все после разлуки. И мы шли и с торжеством переглядывались, без слов понимая друг друга. Чисто-то как! Очень чисто на улицах и пахнет, как всегда в весеннем Ленинграде, – свежей, ледяной водой. Хорошо! Хорошо, что опять асфальт и рельсы. И даже девятка идет по Литейному, как раньше.

А по радио передают музыку и песни – и много, мы идем уже целых пятнадцать минут, а музыка все еще играет.

Мы с болью отмечали новые развалины, появившиеся в городе за этот месяц, печальные, острые лица подростков, сидевших у стен на солнечной стороне улиц, – зимой их почти не видно было, а вот теперь вышли на солнышко, – как вымотала их за зиму проклятая блокада! И все-таки – город ожил! На тех же самых темных зимних лицах теперь брезжит свет улыбки, и все друзья – «в форме», за работой, деятельные, упрямые...

Как хорошо вернуться к ним, к труду и борьбе за Ленинград, за его победу!

Враги думали, что после всех мук, которым они подвергли и еще подвергают наш город, мы будем страшиться Ленинграда; но нам ли бояться тебя, родной город, закаливший нас, подаривший нам новые силы, новую дерзость, новую мудрость...

Нам от тебя теперь не оторваться.
Одною небывалою борьбой,
одной неповторимою судьбой
мы все отмечены. Мы – ленинградцы.

Нам от тебя теперь не оторваться.
Куда бы нас ни повела война –
душа твоею жизнью полна,
и мы везде и всюду – ленинградцы.

Нас по морщинам узнают надменным
у бледных губ, у сдвинутых бровей.
По острым, несогнувшимся коленам,
по пальцам, почерневшим от углей.

Нас по улыбке узнают! Не частой,
но дружелюбной, ясной и простой.
По вере в жизнь. По страшной жажде счастья,
по доблестной привычке трудовой.

Мы не кичимся буднями своими.
Наш путь угрюм и ноша нелегка,
но знаем, что завоевали имя,
которое останется в веках.

Да будет наше сумрачное братство
отрадой мира лучшею навек,
чтоб даже в будущем по ленинградцам
равнялся самый смелый человек.

Да будет сердце счастьем озаряться
у каждого, кому проговорят:
– Ты любишь так, как любят ленинградцы.
Да будет мерой чести Ленинград.

Да будет он, любви бездонной мерой
и силы человеческой живой,
чтоб в миг сомнения, как символ веры,
твердили имя горькое его.

Нам от него теперь не оторваться.
Куда бы нас ни повела война –
его величием душа полна,
и мы везде и всюду – ленинградцы.

2 мая 1942

Ленинград – фронт

Я расскажу вам, товарищи, о нашем, Ленинградском фронте. С неделю назад я была на одном из ближних подступов к Ленинграду, в полку, которому Военный совет вручал в тот день гвардейское знамя.

Мы ехали по весеннему утреннему Ленинграду. Он весь был озарен теплым солнцем, он был, к счастью, очень тихий, совсем безлюдный и неизменно красивый.

У моста, рядом с большим недымившим заводом, наши документы попросил первый пикет. Пока красноармейцы проверяли документы моих товарищей, я разглядывала высокий

заводский забор: он был кое-где пробит осколками снарядов и весь сплошь покрыт плакатами, воззваниями и листовками. Мне подумалось, что, может быть, уже сейчас этот забор надо бережно, так, весь целиком, и перенести в музей, а люди, будущего с благоговением будут останавливаться перед ним, как перед вечно живым куском истории.

Наши стены шепчут, бормочут, кричат: да, прямо на стенах пишется то, что должны знать граждане, в чем нужно их предупредить, чему нужно научить их.

Повсюду награфаречены некрупными буквами правила, как уберечься от гриппа; стены Невского проспекта советуют: «Держите ноги в тепле и сухими...»; «При повышенной температуре немедленно идите к врачу...»

Но больше всего надписей о том, как надо обращаться с огнем, о борьбе с пожарами, о предотвращении их. Уже по одним только надписям этим человек, приехавший в Ленинград, может понять, как грозен был огонь городу в эти годы. Наверное, когда-нибудь эти надписи будут не очень понятны приезжим, наверное, когда-нибудь мы сами удивимся, увидев, что на Литейном, на доме, где когда-то жил Некрасов, начертано: «Не ходите по лестницам с горячей лучиной, с бумажными жгутами и тряпками».

Одна кирпичная стена на Международном огромными буквами кричит почти гекзамером:

«Не оставляйте детей возле горящих коптилок!»

Сколько бедствий сразу встает за этими строчками, начертанными прямо на стенах огромного цивилизованного, прекрасного современного города!

А частные объявления на деревянных укрытиях?

Довольно долго на щите, закрывающем витрину одного когда-то богатого магазина на площади Льва Толстого, висело такое объявление:

«Всем гражданам! Отвожу ихних покойников на саночках до кладбища и другие бытовые перевозки...»

«За ненадобностью продается легкий гроб...»

Целая драматическая, необычная повесть кроется за этим бытовым объявлением.

Да, стены наших домов – это как бы открытый каменный дневник – дневник всего города, дневник каждого из нас, ленинградцев. Мы, конечно, еще не в состоянии оценить и даже просто прочесть его. Но давайте прочтем хотя бы две его страницы.

Подойди к стене своего дома, товарищ, где рядом наклеены прошлогодние и сегодняшние листовки и плакаты, – пробеги их глазами, и сколько чувств заговорит в тебе!

Ты непременно увидишь на стене своего дома уже слегка пожелтевшее от осенних дождей, покоробленное от зимних морозов воззвание. Женщины и подростки торопливо расклеивали его в сентябре 1941 года. Суровые, трепетные слова на этом желтом листе:

«Товарищи ленинградцы, дорогие друзья!

Над нашим родным и любимым городом нависла непосредственная угроза нападения немецко-фашистских войск. Враг пытается проникнуть в Ленинград... Ленинград стал фронтом. Враг у ворот».

А рядом с этим воззванием – другие, наклеенные с неделю назад: «Ленинградцы – на огороды!», «Ленинградец, помни: если ты обрабатываешь и засеешь 15 сотых га, ты получишь капусту, ты получишь редиску, лук, морковь... Этого вполне хватит, чтобы обеспечить свою семью овощами на весь год».

Вот две страницы твоего дневника, ленинградец. Между ними год войны, из них десять месяцев блокады.

И первая страница – первое воззвание – напомнит о том, какими были мы все в августе – сентябре 1941 года, когда враги бешено рвались в Ленинград.

Мы жили тогда напряженной, почти неистовой жизнью. Кто мог поручиться, что будет с ним завтра, что будет со всем городом? Быть может, завтра, быть может, через час придется драться с врагом на этих самых улицах, возле этого плаката – «Враг у ворот»; быть может, придется пасть под ним. И мы жили только этим. Никто не думал о своем завтрашнем дне, никто не заглядывал в будущее. Все силы были отданы тому, чтоб сегодня, сейчас

остановить врага, не пустить его в город.

И враг был остановлен.

Рядом с этим пожелтевшим воззванием – вторая страница дневника – листовка об огородничестве. Она говорит о том, что ты не боишься близкого и свирепого врага. Выстояв в сентябре, теперь-то ты наверняка знаешь, что никогда немцы города не возьмут. И ты живешь будущим. Ты работаешь не только для сегодняшнего дня, но и впрок. Ты стал другим: увереннее, выносливее, храбрее. А главное – ты заново научился жить обычной человеческой жизнью в городе, который десять месяцев назад стал фронтом и по сей день остается фронтом.

...В то утро, когда мы ехали на передний край Ленинградского фронта, наши командировки первая военная застава проверяла у ворот большого завода еще в черте города. Это был «мой» завод. Я проработала здесь в комитете комсомола несколько лет подряд. Глядя на знакомые корпуса и здания, я вдруг совсем по-новому вспомнила молодость, горячие дни первой пятилетки. Товарищи, помните, ведь мы всё тогда называли по-военному. Заводские ночи, исполненные мирного созидательного труда, мы почему-то называли «штурмовыми ночами»; комсомольские группы, торопившие заказ, именовали «боевыми постами» и непрерывно повторяли:

– Мы боремся на *фронте* индустриализации... Наш завод – форпост *фронта* социалистического строительства.

Отсюда начинается теперь настоящий фронт.

«И вечный бой! Покой нам только снится, – сквозь мглу и пыль...» А сразу от завода по обе стороны шоссе под просторным небом возвышаются высокие новые дома. Они красивы, огромны, они соединены арками, их украшают стройные колонны и статуи на крышах. Каменщики и штукатуры, возводившие их, говорили о себе:

– Мы боремся на *фронте* жилищного строительства.

– *Фронт* быта, – называли мы эти арки, эти широкие, мирные дворы с фонтанами и клумбами. – *Фронт* культуры.

Теперь от дома к дому, пересекая улицу, возведены баррикады, надолбы, ежи, завалы. Вторая застава проверяет наши командировки.

Да. Этот завод, эти недостроенные дома, этот садик в августе прошлого года стали фронтом не в переносном, как в мирное время, а в буквальном – в грозном, бедственном и мужественном – значении этого слова. Это все еще город, городские улицы – и это уже фронт. Мы ехали менее часа, и вот мы почти на передовой линии фронта, в полку, которому будут вручать сейчас гвардейское знамя, завоеванное им здесь, на этом фронте, этой зимой.

Тяжелое, огромное испытание стояло перед полком, и он с честью вышел из него. Он не пустил врага в Ленинград, удержал свои рубежи.

Суровую зиму перенесли все ленинградцы и, так же как гвардейцы, с честью вышли из испытания, потому что удержали все свои рубежи. Это особые рубежи. Это рубежи жизни.

И когда наступила весна, всей стране, всему миру и, главное, нам самим стало ясно, что Ленинград, коченевший от стужи, жаждавший, голодавший, видевший на улицах своих бесчисленные гробы, город, где объявления о перевозках трупов на саночках – быт, – этот Ленинград – город неугасимой, торжествующей жизни.

Разве не торжество жизни, что именно в Ленинграде только одно ремесленное училище обучило этой зимой и отправило за кольцо на предприятия страны более пятисот молодых умелых мастеров? Пожалуй, лишь мы сами сумеем вполне оценить то, как учились работать голодающие, зябнувшие ребята, в то время как руки их примерзали к металлу и зубы шатались во рту, как у стариков... Но они выучились мастерству за зиму, и этой весной Ленинград снова дал стране питерские, ленинградские кадры рабочего класса.

А одна табачная фабрика освоила за зиму четырнадцать совершенно различных и не свойственных ей производств, и в том числе научилась изготавливать превосходный сульфидин, красный и белый стрептоцид...

Да, смерть глядела этой зимой в самые наши зрачки, глядела долго и неотрывно. Но

она не смогла загипнотизировать нас, как гипнотизирует удав намеченную жертву, обезволивая ее и покоряя. Фашисты, заславшие к нам смерть, опять просчитались. Мы люди, а не кролики. Мы гордые люди, люди, любящие жизнь, мы не уступали смерти без боя ни одной пяди: вот в разгар ее безумия мы даже изобретали лекарства, мы лечились и лечили друг друга и отвоевали тысячи и тысячи людей, уже обреченных на гибель.

И это есть торжество жизни, хотя жертвы наши и очень велики.

А разве не торжество жизни, что Публичная библиотека наша – одно из величайших книгохранилищ мира – работала в Ленинграде всю эту зиму?!

Да, в библиотеке на абонементе было всего два фонаря «летучая мышь», и от книг веяло смертным холодом. Но в этой тьме работники библиотеки подбирали книги для госпиталей и библиотек-передвижек. В библиотеку приходили запросы на узбекские книги, на грузинские, татарские – для бойцов грузин, татар и узбеков, для бойцов многих других национальностей, которые защищают Ленинград.

Какие только запросы не приходили в Публичную библиотеку!

Ведь в осаде стали проблемой простейшие вещи – например, добывание огня. Раньше спички привозили к нам из области, а теперь... И вот в Публичную библиотеку поступает запрос: как организовать производство кремешков для зажигалок? Как наладить производство спичек? Свечей? Белковых дрожжей? И множество, множество таких же необходимейших для обороны, для жизни города вещей... И сотрудники библиотеки тщательно, по-военному оперативно подбирали литературу – по спичкам, по свечам, по дрожжам... Сплошь и рядом оказывалось, что новейшие пособия не годятся для Ленинграда – просто нет возможности поставить производство в блокаде по-современному. Тогда подыскивались старинные книги, книги XVIII века, обучавшие примитивному изготовлению хотя бы тех же свечей – «како катать свечи», – и это-то как раз и подходило к нашим блокадным условиям и немедленно применялось. Что ж, лучше XVIII век, чем каменный! Оказывалось, например, что такая вещь, как современная спичка, требует для своего изготовления до семидесяти одной различной химикалии. Нет такого количества химикалий в осаде! Тогда разыскивалась старая литература, литература эпохи рождения самой первой спички, и производство ставилось по ней; мы знаем наши спички – зажигаются они, конечно, с применением физического труда, но уж лучше такие, чем совсем никаких. А на книжечке с *такими* спичками нарисовано даже здание Адмиралтейства и напечатаны стихи!

Так мирное книгохранилище участвовало в обороне города, в защите основ цивилизации, ни на один день не прекращая главной своей работы.

За эту зиму много частных библиотек осталось без хозяев, осиротело... Казалось бы, не до книг в городе, терпящем такое бедствие. Но работники Публичной библиотеки не дали погибнуть осиротевшим, оставшимся без защиты книгам: на саночках, а весной на детских мальпостах, совершая огромные концы пешком, качаясь от слабости и тяжелого груза, возили они выморочные библиотеки в свой фонд и спасли для будущих поколений сотни, тысячи книг, рукописей, архивов...

Ленинградцы мыслили, творили, дерзали, то есть дрались за жизнь на всех ее рубежах.

Это было очень тяжело, но ни с единого рубежа жизни мы не отступили. Мы совсем по-новому поняли, что жизнь – это деятельность и что, как говорят у нас, «раньше смерти помрешь», если перестанешь трудиться.

И в те же дни, когда гвардейцы принимали знамя, тысячи ленинградцев, подобно им, принимали из рук Родины награды, которые мы вправе считать наградами фронтовыми...

Полк принимал знамя в бою.

Гвардейцы стояли на маленькой поляне среди бедных, еще почти не одетых травой бугров, под холодным северным ветром, а за ними, в синеватой дымке, виднелись нежные контуры Ленинграда.

Каким отсюда строгим и спокойным казался он! Покой и тишина...

– Что в городе? – спросил меня полковник.
И я ему ответила: – Война!

И вот командир полка берет из рук члена Военного совета багряное гвардейское знамя. Командир высоко поднимает его над головой и показывает всему полку – смотрите, гвардейское знамя в наших руках; это знамя – знак великого доверия Родины. И командир опускается перед знаменем на колени и благоговейно целует край его.

Вместе с ним преклоняет колена весь полк.

– Мы клянемся, – говорит командир.

И гвардейцы одним голосом повторяют за ним:

– Клянемся!..

Гвардейцы клянутся своему знамени и стоящему за ними Ленинграду в незыблемой верности, в священной ненависти к врагу. Немцы еще у ворот Ленинграда. Но они не войдут в город. В этом клянутся гвардейцы, и клятву их подтверждает оружейный салют; это не простой салют, а огневой залп по заранее разведанной цели – по вражеским батареям. Еще несколько варварских батарей, швыряющих снаряды в наш город, уничтожены этим гвардейским салютом.

* * *

Много нового труда пришло с весной.

Тысячи ленинградцев трудятся на огородах, возделывают и засеивают землю, ждут от нее благодарного и обильного урожая и знают, что этот урожай они обязательно снимут – это будет осенью, в августе – сентябре 1942 года. Этот урожай поможет нам также справиться с цингой. Надо думать, к осени мы добьем цингу.

Оркестр радиокomiteта начал репетировать Седьмую симфонию Шостаковича. Через месяц-полтора в открытом дневнике города, на его стенах, появится новая страница – афиша, извещающая о первом исполнении Седьмой симфонии в Ленинграде. Эта афиша будет висеть рядом с пожелтевшим прошлогодним воззванием «Враг у ворот»... Прошлогодним? Нет, сегодняшним! Ведь враг все еще у ворот – враг на улице Стачек, рядом! Больше того – мы знаем, что он не оставил своей бредовой идеи взять Ленинград... Мы должны быть готовы к тому, что, может быть, нам предстоят новые тяжелые испытания...

Поэтому с той же силой звучат слова прошлогоднего воззвания: «Пусть каждый ленинградец ясно осознает, что от него самого, от его поведения, от его работы, от его готовности жертвовать собою, от его мужества зависит во многом судьба города – наша судьба. Враг у ворот! Ленинград стал фронтом!»

Мы шли на фронт по улицам знакомым,
припоминали каждую, как сон:
вот палисад отеческого дома,
здесь жил, шумя, огромный добрый клен.

Он в форточки тянулся к нам весной,
прохладный, глянцеви́тый поутру...
Но этой темной ледяной зимой
и ты погиб, зеленый, шумный друг.

Зияют окна вымершего дома.
Гнездо мое, что сделали с тобой!
Разбиты стены старого райкома,
его крылечко с кимовской звездой.

Я шла на фронт сквозь детство – той дорогой,
которой в школу бегала давно.
Я шла сквозь юность, сквозь ее тревогу,
сквозь счастье свое перед войной.

Я шла сквозь хмурое людское горе –
пожарища,
развалины,
гробы...
Сквозь новый,
только возникавший город,
где здания прекрасны и грубы.

Я шла сквозь жизнь, сводя до боли пальцы.
Твердил мне путь, давнишний и прямой:
– Иди. Не береги себя. Не сжался,
не плачь, не умиляйся над собой.

И вот – река,
лачуги,
ветер жесткий,
челны рыбачьи, дымный горизонт,
землянка у газетного киоска, –
наш,
ленинградский,
неприступный фронт.

Да. Знаю. Все, что с детства в нас горело,
все, что в душе болит, поет, живет, –
все шло к тебе,
торжественная зрелость,
на этот фронт у городских ворот.

Ты нелегка – я это тоже знаю.
Но все равно – пути другого нет.
Благодарю ж тебя, благословляю,
жестокий мой,
короткий мой расцвет, –
за то, что я сильнее, и спокойней,
и терпеливей стала во сто крат
и всею жизнью защищать достойна
Великий Город Жизни – Ленинград.

3 июня 1942

Сентябрь сорок второго года...

В Ленинграде осень, сентябрь...

Говоря «сентябрь», мы вспоминаем сентябрь прошлого года, тысяча девятьсот сорок первого. Тот сентябрь, когда первые артиллерийские снаряды и первые фугасные бомбы ворвались в наш город с незнакомым, еще пугающим свистом и ревом; тот сентябрь, когда фашисты штурмовали Ленинград, а мы строили на улицах баррикады, собирали по

домохозяйствам бутылки и заряжали их горючим, готовясь, если понадобится, драться у каждого дома, у каждой калитки.

И вот – снова сентябрь, сентябрь сорок второго года...

Как и в прошлом году, Ленинград – наш, советский, русский город, не взятый, не покоренный, не умерщвленный Гитлером.

Но, как и в прошлом году, Ленинград – это фронт, и, как в прошлом году, немцы не оставили мысли взять город штурмом. Но с еще большей, чем в прошлом году, решимостью и бесстрашием готовы мы встретить врага, и отразить его, и выстоять.

Мы знаем, что знамена тех городов, с которыми еще недавно вели мы боевую переключку, как бы перешли теперь к нам... Мы не уроним их. Мы будем стоять насмерть – за себя и за Одессу. За себя и за Севастополь. За себя и за всю Россию.

Новая сила родилась в нас в жестокие дни зимы, в трудные месяцы нынешней весны и лета. И эта новая сила питается болью и тревогой за Россию: смертная опасность грозит России сейчас, в сентябре сорок второго года, как никогда...

Ежедневно в шесть часов утра мы просыпаемся, как от толчка, жадно слушаем сводку Информбюро... Уже третий месяц подряд сообщает нам сводка вести, от которых сердце обливается кровью и дыхание становится горячим. Сегодня сводка сообщила, что, несмотря на огромные потери, гитлеровцы рвутся к Грозному, что идут бои на окраинах Сталинграда...

Никто из нас не думает сейчас о своих, блокадных трудностях; мы живем так, как будто бы нет расстояния между Ленинградом и Сталинградом, как будто бы Нева и Терек текут рядом.

Мы живем, исполненные единой жаждой – всем, чем можно, помочь стране. И, несмотря ни на что, мы живем уверенностью, что Россия выстоит, что мы остановим повсюду захватчиков и даже погоним их вон из пределов нашего отечества. И мы из своего кольца, из осады громко говорим всем защитникам России: товарищи, крепитесь, бейте немцев, остановите, задержите их – это можно, можно, клянемся вам ленинградским сентябрем сорок первого года!

Немыслимо трудные дни переживаем сейчас мы все...

Печаль войны все тяжелей, все глубже.
Все горестней в моем родном краю...
Бывает, спросишь собственную душу:
– Ну, как ты, что? –
И слышишь: – Устаю... –
Но не вини за горькое признание
души своей – и не смущайся, нет!
Она такое приняла страданье
за этот год, что хватит на сто лет
Такое испытанье ей досталось,
что, будь она не русскою душой, –
ее давно бы насмерть искромсало
отчаяньем, неверием, тоской...
Но только вспомни – вспомни сорок первый:
свирепо, страшно двигался фашист,
а разве – хоть на миг – ослабла вера
не на словах, а в глубине души?
Нет! Боль и стыд неожиданных поражений
твоя душа сполна перенесла
и на путях печальных отступлений
невиданную твердость обрела.
...И вот – опять...

О, сводки с юга утром!
Как будто бы клещами сердце рвут...
Почти с молитвой смотришь в репродуктор:
– Скажи, что Грозного не отдадут!
Скажи, скажи, что снова стала нашей
Кубань, Ростов и пламенный Донбасс!
Скажи, что англичане от Ламанша
рванулись на Германию сейчас! –
Но, как полынью, горем сводки дышат.
Встань и скажи себе, с трудом дыша:
– Ты, может быть, еще не то услышишь
и все должна перенести, душа.
Ты устаешь? Ты вся в рубцах и ранах?
Все так! Но вот сейчас, наедине,
не людям – мне клянись, что не устанешь,
пока твое Отечество в огне.
Ты русская – дыханьем, кровью, думой.
В тебе соединились не вчера
мужицкое терпенье Аввакума
и царская неистовость Петра.
Так не желай и не проси пощады
и все прими, что будет, не забыв
ни зимнего терзанья Ленинграда,
ни горькой севастопольской судьбы.
Такая, отграненная упорством,
твоя душа нужна твоей земле...
Единоборство?
Пусть единоборство!
Мужайся, стой, крепись и – одолей!

И еще я прочту стихотворение о русской девушке Ольге Селезневой, угнанной немцами в Германию...

Я хочу говорить с тобою
о тяжелой нашей вине,
так, чтоб больше не знать покоя
ни тебе, товарищ, ни мне.

Я хочу говорить недолго:
мне мерещится все больней
Ольга, русская девушка Ольга...
Ты, наверное, знаешь о ней.

На немецкой земле на проклятой
в подлом рабстве томится она.
Это наша вина, солдаты,
это наша с вами вина.

Точно образ моей отчизны,
иссеченной, усталой, больной,
вся – страдание, вся – укоризна, –
так встает она предо мной.

Ты ли пела, певучая? Ты ли
проходила, светлее луча?
Только слезы теперь застыли
в помутневших твоих очах.

Я гляжу на нее, немея,
но молчать уже не могу.
Что мы сделали? Как мы смели
пол-России отдать врагу?

Как мы смели ее оставить
на грабеж и позор – одну?!
Нет, товарищ, молчи о славе,
если сестры твои в плену.

Я затем говорю с тобою
о тяжелой такой вине,
чтоб не знать ни минуты покоя
ни тебе, товарищ, ни мне.

Чтобы стыдно было и больно,
чтоб забыть о себе – пока
плачет русская девушка Ольга
у германского кулака.

20 сентября 1942

Наша победа

Дорогие товарищи,
послезавтра мы будем встречать новый, тысяча девятьсот сорок третий год.
Второй Новый год встречаем мы в блокаде.

Воспоминание о той, прошлогодней встрече, то есть о ленинградском декабре сорок первого года, это воспоминание еще так жгуче болит, что к нему тяжело и страшно прикасаться. Не надо же сегодня вспоминать сумрачные подробности тех дней. Вспомним, товарищи, только одну подробность: вспомним, что мы, несмотря ни на что, и тот Новый год встречали с поднятой головой, не хныча и не ноя и, главное, ни на минуту не теряя веры в нашу победу.

И вот прошел год. Не просто год времени, а год Отечественной войны, год тысяча девятьсот сорок второй, а для нас еще триста шестьдесят пять дней блокады.

Но совсем по-иному встречаем мы этот новый, 1943 год.

Наш быт, конечно, очень суров и беден, полон походных лишений и тягот. Но разве можно сравнить его с бытом декабря прошлого года? В декабре прошлого года на улицах наших замерло всякое движение, исчез в городе свет, иссякла вода, да... много чего исчезло и много чего появилось тогда на наших улицах...

А сейчас все-таки ходят трамваи – целых пять маршрутов! Сейчас поет и говорит радио, в два наши театра и в кино не пробьешься, целых три тысячи ленинградских квартир получили электрический свет. И, несмотря на то, что нашему городу за этот год нанесено много новых ран, весь облик его совсем иной, чем в прошлом году, – несравненно оживленнее, бодрее. Это живой, напряженно трудящийся и даже веселящийся в часы отдыха город, а ведь блокада-то все еще та же, что и в прошлом году, враг все так же близок, мы

по-прежнему в кольце, в окружении.

Да, за год изнурительной блокады наш город и все мы вместе с ним не ослабли духом, не изверились, а стали сильнее и уверенней в себе.

С точки зрения наших врагов, произошла вещь абсолютно невероятная, невозможная, и причины этого они понять не в состоянии.

Еще 30 января 1942 года, то есть почти год назад, выступая перед своей шайкой, Гитлер заявил: «Ленинград мы не штурмуем сейчас сознательно. Ленинград выжрет самого себя». В новогоднем своем приказе, к 1 января 1942 года, в приказе по войскам, блокирующим Ленинград, он «благодарил своих солдат за создание невиданной в истории человечества блокады» и нагло заявлял, что не позднее, чем через три-четыре недели, «Ленинград, как спелое яблоко, упадет к нашим ногам...»

Подвергая город страшнейшим лишениям и пыткам, враг рассчитывал, что пробудит в нас самые низменные, животные инстинкты. Враг рассчитывал, что голодающие, мерзнувшие, жаждущие люди вцепятся друг другу в горло из-за куска хлеба, из-за глотка воды, возненавидят друг друга, начнут роптать, перестанут работать – в конце концов сдадут город, – «Ленинград выжрет самого себя». Но мы не только выдержали все эти пытки – мы окрепли морально. Они не понимают, в чем же дело. Они не понимают, что мы, русские люди, мужавшие при Советской власти, люди, уважающие и любящие труд. За двадцать четыре года Советской власти мы накопили огромный опыт коллективной жизни и коллективного труда. Этот творческий коллективный труд называем мы строительством социализма. И весь наш народ, от детей до стариков, был одержим одной мечтой, был захвачен строительством социализма, и мы работали, отдавая ему все свои силы; да, мы ошибались, мы перегибали иногда, но как прекрасен и велик был этот наш труд и как в процессе его рос и хорошел человек! И вот в Ленинграде, в тяжелейших условиях блокады, под пытками фашистских палачей, русский, советский человек не утратил своих навыков и черт, а наоборот, эти черты, черты социалистического человека, труженика, стали еще четче, окрепли, как бы вычеканились на благородном металле.

Нередко приходится слышать жалобы: «Ох, ну и народ у нас стал – черствый, жадный, злой». Неправда. Это неправда! Конечно, не все выдержали испытание; конечно, есть люди очерствевшие, впавшие в мелкий, себялюбивый эгоизм, но их ничтожное меньшинство. Если б их было много, мы бы просто не выдержали, расчеты врага оправдались бы.

Взгляни себе в сердце, товарищ, посмотри попристальней на своих друзей и знакомых, и ты увидишь, что и ты и твои друзья за трудный год лишений и блокады стали сердечнее, человеколюбивее, проще. Вспомни хотя бы то, сколько раз ты сам делился последним своим куском с другим, и сколько раз делились с тобой, и как вовремя приходила эта дружеская поддержка.

Вот в январе этого года одна ленинградка, Зинаида Епифановна Карякина, слегла. Соседка по квартире зашла к ней в комнату, поглядела на нее и сказала:

– А ведь ты умираешь, Зинаида Епифановна.

– Умираю, – согласилась Карякина. – И знаешь, Аннушка, чего мне хочется, так хочется – предсмертное желание, наверное, последнее: сахарного песочку мне хочется. Даже смешно, так ужасно хочется.

Соседка постояла над Зинаидой Епифановной, подумала, вышла и вернулась через пять минут с маленьким стаканчиком сахарного песку.

– На, Зинаида Епифановна, – сказала она. – Раз твое такое последнее желание перед смертью – нельзя тебе отказать. Это когда нам по шестьсот граммов давали, так я сберегла. На, скушай.

Зинаида Епифановна только глазами поблагодарила соседку и медленно, с наслаждением стала есть. Съела, закрыла глаза, сказала: «Вот и полегче на душе», и уснула. Проснулась утром и... встала.

Верно, еле-еле ходила, но ходила.

А на другой день вечером вдруг раздался в дверь стук.

– Кто там? – спросила Карякина.

– Свои, – сказал за дверью чужой голос. – Свои, откройте.

Она открыла. Перед ней стоял совсем незнакомый летчик с пакетом в руках.

– Возьмите, – сказал он и сунул пакет ей в руки. – Вот, возьмите, пожалуйста.

– Да что это? От кого? Вам кого надо, товарищ?

Лицо у летчика было страшное, и говорил он с трудом.

– Ну, что тут объяснять... Ну, приехал к родным, к семье, привез вот, а их уже нет никого... Они уже... они умерли! Я стучался тут в доме в разные квартиры – не отпирает никто, пусто там, что ли, – наверное тоже... как мои... Вот вы открыли. Возьмите. Мне не надо, я обратно на фронт...

В пакете была мука, хлеб, банка консервов. Огромное богатство свалилось в руки Зинаиды Епифановны. На неделю хватит одной, на целую неделю!.. Но подумала она: съесть это одной – нехорошо. Жалко, конечно, муки, но нехорошо есть одной, грех. Вот именно грех – по-новому, как-то впервые прозвучало для нее это почти забытое слово. И позвала она Анну Федоровну, и мальчика из другой комнаты, сироту, и еще одну старушку, ютившуюся в той же квартире, и устроили они целый пир – суп, лепешки и хлеб. Всем хватило, на один раз, правда, но порядочно на каждого. И так бодро себя все после этого ужина почувствовали.

– А ведь я не умру, – сказала Зинаида Епифановна. – Зря твой песок съела, уж ты извини, Анна Федоровна.

– Ну и живи! Живи! – сказала соседка. – Чего ты... извиняешься? Может, это мой песок тебя на ноги-то и поставил. Полезный он: сладкий.

И выжили и Зинаида Епифановна, и Анна Федоровна, и мальчик. Всю зиму делились – и все выжили.

Я могу рассказывать о таких случаях еще и еще и знаю, что и мне могут долго рассказывать об этом, и мы наберем тысячи примеров братской поддержки людей. И каждый, я знаю, насчитает в своей жизни не один такой пример.

Мы поняли – выжить мы сможем, только держась друг за друга, только помогая друг другу. И вот в чернейшие месяцы блокады в Ленинграде по инициативе комсомолок Приморского района рождается благороднейшее, человеколюбивейшее движение, которое скромно именуется «бытовым движением»: тысячи комсомолок совершенно бескорыстно идут по квартирам к наиболее ослабевшим людям с посильной помощью и возвращают к жизни десятки тысяч женщин, детей, стариков, уже обреченных врагом на гибель.

Ты знаешь их, товарищ, этих бесстрашных, простых, великодушных девушек, быть может и тебе они помогли, как множеству других... Но об этом прекрасном подвиге нужно говорить особо и много...

Я сказала, что мы стали человеколюбивее. Но это вовсе не значит, что стали мы такими добренькими, сладенькими, всепрощающими. Сурово и взыскательно ленинградское человеколюбие.

Этим летом на Невском я видела такую картину: лежит на панели, закрыв лицо шапкой, подросток и навзрыд плачет. А рядом стоят две женщины. У одной из них он хотел стащить карточки, но вторая заметила это, задержала его и вот сейчас, стоя над ним, стыдит его:

– Ты что же, зверь, хотел сделать? Ты ее хотел жизни лишить! Ты о себе подумал, а о ней? Нет, как ты смел об одном себе думать!

– Отстань ты! – корчась от стыда, кричит из-под шапки парнишка. – Я вот пойду под трамвай брошусь, умру...

– Ну и умирай! – крикнула ему женщина. – Умирай, если ты один жить хочешь!

Так, вопреки попыткам врага посредством страшных испытаний разобщить нас, поссорить, бросить друг на друга, мы, наоборот, сплотились, стали единым трудовым коллективом, единой семьей. Потому-то и встречаем мы этот Новый год в тепле и при свете, потому-то и смотрим в будущее уверенно и трезво.

Враг стремился пробудить в нас зверей, разжечь в нас животную жадность к

существованию, и в то же самое время хотел убить в нас любовь к жизни, волю к ней.

Но, оставшись людьми, мы не разлюбили, а еще больше полюбили жизнь. Мы полюбили ее до высшего предела этой любви, до презрения к смерти.

В городе, обстреливаемом и бомбардируемом, во вражеском окружении мы научились любить и ценить каждую минуту жизни, каждую ее, даже самую простую, радость. О, как оценили мы, что значит домашнее гнездо, что значат уют и тепло, как мы стремимся к нему, как, несмотря ни на какие разрушения, хозяйственно и основательно переселялись и устраивались в эту осень ленинградцы – даже вставляли стекла, даже оклеивали комнаты новыми обоями! Но в то же время сознание ленинградца свободно от жалкого страха за свои вещи; над ленинградцем нет деспотической власти вещей, и с пренебрежением говорит он о людях, трясущихся над своим добром. Был бы жив город, был бы трудоспособен и боеспособен весь его коллектив, а отдельный человек в этом хорошем, дружном коллективе найдет себе место. Остаться бы человеком, достойным города; хорошо, если бы повезло и не покалечило снарядом, а вещи – дело наживное.

Враг думал, что у нас опустятся руки, что мы перестанем трудиться – и все развалится и рухнет. Но у нас появилась какая-то невиданная неутомимость в труде. Ведь это же факт, что почти каждый ленинградец, кроме основной своей профессии, освоил еще и ряд других – не только на производстве, но и в быту. Тысячи и тысячи из нас стали квалифицированными огородниками, печниками, стекольщиками, лесорубами, водопроводчиками, трубочистами – не гнушаясь никаким трудом, раз это нужно для жизни.

А главное – во всем этом наша огромная победа над врагом, наше торжество над человеконенавистниками, стяжателями, палачами фашистами. Мы победили их, победили морально – мы, осажденные ими! Потому и подходим мы к встрече сорок третьего года более сильными, чем в прошлом году. А радостные вести об ударах, которые наносит наша славная армия немецким захватчикам, гоня их от Сталинграда, наполняют сердца счастьем, и легче становится переносить нам наши трудности, и легче работается, и так хочется самому, физически, своими руками помочь далеким от нас армиям скорее вернуть многострадальной нашей родине мир и покой.

Дорогие товарищи, послезавтра мы будем встречать Новый, 1943 год. Многих из тех, кто встречал с нами прошлый Новый год, родных и близких нам людей, не будет с нами на этой встрече. Священен для нас их облик, незабвенна прекрасная их память. И все же давайте сядем за наш небогатый праздничный стол со светлым сердцем, радостно поздравим друг друга с Новым годом и пожелаем друг другу нового счастья – счастья полной победы над проклятым Гитлером... А я прочту вам стихи о Ленинграде, о Новом годе, о счастье жить:

В еще невиданном уборе
завьюженный огромный дот –
так Ленинград, гвардеец город,
встречает этот Новый год.
Как беден стол, как меркнут свечи.
Но я клянусь – мы никогда
правдивей и теплее встречи
не знали в прежние года.
Мы, испытавшие блокаду,
все муки ратного труда,
друг другу счастья и отрады
желаем так, как никогда.
С безмерным мужеством и страстью
ведущие неравный бой,
мы знаем, что такое счастье,
что значат верность и любовь.

Так выше головы и чаши
с глотком вина! Мы пьем его
за человеческое наше
незыблемое торжество.
За Армию – красу и гордость
планеты страждущей земной.
За наш угрюмый, темный город,
втройне любимый и родной.
Мы в чаянье тепла и света
глядим в грядущее в упор...
За горе, гибель и позор
врага!
За жизнь!
За власть Советов!

Этот тост был написан к встрече того, сорок второго года... И второе стихотворение, написанное теперь, к сорок третьему, называется «Новоселье»:

И вновь зима. Летят, летят метели.
Враг все еще у городских ворот.
Но я зову тебя на новоселье.
Мы новосельем встретим Новый год.

Еще враги свирепый и бесцельный
ведут обстрел по городу со зла,
и слышен хруст стены и плач стекла...
Но я тебя зову на новоселье.

Смотри – вот новое мое жилище...
Где старые хозяева его?
Одни в земле, других нигде не сыщешь,
нет ни следа, ни вести – ничего...

И властно воцарялось запустенье
в когда-то светлом, радостном дому.
Дышала смерть на городские стены,
твердя: «Быть пусту дому твоему...»

Здесь холодом несло из каждой щели.
Отсюда человек ушел...
Но вот
зову тебя сюда на новоселье,
под этим кровом встретить Новый год.

Смотри – я содрала с померкших стекол
унылые бумажные кресты.
Зажгла огонь – очаг лучист и тепел,
сюда вернулись люди: я и ты.

О, строгие, взыскательные тени
былых хозяев дома моего,
благословите наше поселенье,

покой и долголетие его.

И мы тепло надышим в дом,
который был занят смертью, погружен во тьму...
Здесь будет жизнь!
Ты жив, ты бьешься, город, –
не быть же пусту дому твоему.

29 декабря 1942

Здравствуй, Большая Земля!

Ленинградцы, дорогие соратники, товарищи, друзья!

Блокада прорвана! Мы давно ждали этого дня. Мы всегда верили, что он будет. Мы были уверены в этом в самые черные месяцы Ленинграда – в январе и феврале прошлого года. Наши погибшие в те дни родные и друзья, те, кого нет с нами в эти торжественные минуты, умирая, упрямо шептали: «Мы победим». Они отдали свои жизни за честь, за жизнь, за победу Ленинграда. И мы сами, каменея от горя, не в силах даже облегчить свою душу слезами, хороня в мерзлой земле их без всяких почестей, в братских могилах, вместо прощального слова клялись им: «Блокада будет прорвана. Мы победим!» Мы чернели и опухали от голода, валялись от слабости с ног на истерзанных врагом улицах, и только вера в то, что день освобождения придет, поддерживала нас. И каждый из нас, глядя в лицо смерти, трудился во имя обороны, во имя жизни нашего города, и каждый знал, что день расплаты настанет, что наша армия прорвет мучительную блокаду.

Так думали мы тогда. И этот час наступил – ночь с 18 на 19 января 1943 года.

Мы знаем, нам еще многое надо пережить, многое выдержать. Мы выдержим всё. Уж теперь-то выдержим, теперь-то мы хорошо почувствовали свою силу.

Мы знаем, что сейчас с восторгом, с гордостью, со счастливыми слезами слушает сообщение о прорыве блокады вся Россия – вся Большая Земля. Здравствуй, здравствуй, Большая Земля! Приветствуем тебя из освобождающегося Ленинграда! Спасибо тебе, Большая Земля, за твою помощь! Клянемся тебе, что мы будем бороться, не жалея никаких сил, за полное уничтожение блокады, за полное освобождение всей советской земли.

О, дорогая, дальняя, ты слышишь?
Разорвано проклятое кольцо!
Ты сжала руки, ты глубоко дышишь,
в сияющих слезах твое лицо.

Мы тоже плачем, тоже плачем, мама,
и не стыдимся слез своих: теплой
в сердцах у нас, бесслезных и упрямых,
не плакавших в прошедшем феврале.

Пусть эти слезы сердце успокоят...
А на врагов – расплавленным свинцом
пускай падут они в минуты боя
за все, за всех, задушенных кольцом.

За девочек, по-старчески печальных,
у булочных стоявших, у дверей,
за трупы их в пикейных одеяльцах,
за страшное молчанье матерей...

О, наша месть – она еще в начале, –
мы длинный счет врагам приберегли:
мы отомстим за все, о чем молчали,
за все, что скрыли от Большой Земли!

Нет, мама, не сейчас, но в близкий вечер
я расскажу подробно обо всем,
когда вернешься в ленинградский дом,
когда я выбегу тебе навстречу.

О, как мы встретим наших ленинградцев,
не забывавших колыбель свою!
Нам только надо в городе прибраться:
он пострадал, он потемнел в бою.

Но мы залечим все его увечья,
следы ожогов злых, пороховых.
Мы в новых платьях
выйдем к вам навстречу,
к «Стреле»,
пришедшей прямо из Москвы.

Я не мечтаю – это так и будет.
Минута долгожданная близка.
Но тяжкий рев разгневанных орудий
еще мы слышим: мы в бою пока.

Еще не до конца снята блокада...
Родная, до свидания!
Иду
к обычному и грозному труду
во имя новой жизни Ленинграда.

Ночь с 18 на 19 января 1943

Крепить боевую дружбу

Товарищи!

Перед Новым годом я выступала по радио на тему о новых человеческих отношениях, родившихся в Ленинграде за время блокады. Я приводила примеры высокого, рожденного в дни испытаний человеколюбия ленинградцев, примеры взаимопомощи, примеры великого трудолюбия.

В ответ на свое выступление я получила много устных и письменных откликов, и вот мне хочется сегодня ответить на письма, на те, которые, по-моему, имеют общий интерес для всех нас. И особенно мне хочется поговорить о них именно сейчас, когда мы вступили в новый этап своей жизни – после прорыва блокады.

Я с радостью и гордостью хочу сказать вам, товарищи, что большинство моих корреспондентов целиком поддержало утверждение, что за тяжелое время блокады ленинградцы стали сердечнее, дружнее, трудолюбивее.

Но некоторые не согласны с этим.

Вот одна корреспондентка, подписавшая свое письмо «Одинокая мать», упрекает меня

в «наивности». Она видит причины этой «наивности» в том, что я якобы «окружена другими людьми, нежели мы, одинокие, и вам, писателю, показывают лишь лицевую сторону медали». Корреспондентка поэтому предупреждает, что меня ожидает горькое разочарование. Что в критический момент своей жизни, протянув руку за помощью, я получу «камень в руку», ибо люди черствы.

«Одинокая мать» убедилась в этом на своем горьком личном опыте. Она пишет:

«В январе прошлого года я едва бродила, пораженная цингой и дистрофией. Я с улицы привела замерзающего мужчину, после этого еще одну девушку и подростка. Всех их я поила горячим чаем, оттирала им руки и ноги вазелином; они придут в себя, поблагодарят – только на словах, иначе я не допускала. Больше ни поесть, ни дать им что-либо я не имела возможности... Так можете себе представить, жильцы моего дома стали подозревать меня, будто я обворовываю их... И я сдала в своем порыве, так как была убита морально... Поэтому очень прошу вас – уверьтесь, оденьтесь попроще и спуститесь на две-три ступеньки пониже...»

Отвечаю «Одинокой матери» и всем, кто мыслит одинаково с ней, а таких, я знаю, немало. Дорогой мой несправедливо обиженный товарищ! Во-первых, нам, ленинградским писателям, никто ничего не «показывает», ни лицевой, ни обратной стороны. Мы не согладатаи в своем городе, не интуристы. Мы пережили все то же самое, что и вы: тот же голод, холод, потерю близких. Поэтому-то и имеем мы право говорить с вами полным голосом, спокойно и прямо.

И мне любой дороже славы,
что я ценой моей зимы
владею счастьем и правом
в стихах поставить «я» как «мы»

А примеров людской черствости, неблагодарности и равнодушия я могла бы привести больше вашего. Но ведь не этим же *жив* Ленинград, не этим же держимся все мы! А я говорила, и говорю, и буду говорить о том, что людей *держит*, о том, что им *помогает* жить. Это в первую очередь надо замечать и любить. Да вы же сами, товарищ Одинокая мать, – вашим же примером, тем, что помогали людям, подтверждаете мое утверждение. Вы прекрасно поступали, как настоящая ленинградка, а вот то, что, получив вместо признания и благодарности подозрения и даже клевету, вы «сдали в своем порыве», то есть перестали помогать людям, – вот это очень горько и обидно и, по-моему, глубоко неправильно.

Разве же мы помогаем друг другу, держимся, несмотря ни на что, работаем иногда из последних сил, сверх своих возможностей для того, чтобы кто-то нас признал, наградил, поблагодарил? Разве комсомолки, бойцы бытовых отрядов, свершали свой подвиг ради славы? Да мы просто не можем иначе, мы этим живем! Мы сами себя спасаем своей заботой о других, любовью к ним. А тот, кто отказывается помогать другим, тот, кто «сдает в порыве», – тот сам неизбежно обрекает себя на одиночество.

Я сказала, что мы держимся и помогаем друг другу не во имя награды или похвалы, но больше того – даже не затем, чтоб восхищаться самим собой: «Ах, какой я хороший!» Мы оказываем друг другу *боевую поддержку* точно так же, как один боец, выручает другого во время боя. А разве может, разве имеет право «сдать в своем порыве» боец, выручая своего товарища, сохраняя его жизнь? Вот и мы должны поступать так же, ибо каждый из нас сейчас – солдат своей родины. Больше даже: каждый из нас – носитель и защитник всего лучшего и благородного, что есть у человечества и что враг хочет навек умертвить, – сострадания, бескорыстия, самоотверженности. Да, мы, мы держим сейчас в мире знамя человечности, каждый из нас, кто бы он ни был!

...Дорогой товарищ, подписавшая свое письмо «Одинокая мать», я не хочу ни обидеть, ни поучать вас. Вас действительно оскорбили, вы много пережили, много перенесли. Вы не правы только в том, что «сдали в порыве» и что частный случай недоверия лично к вам

возвели до обобщения, стали по своему опыту судить обо всех.

Но вот есть у нас и другие люди, в нашем же городе. И их не так уж мало. Я говорю о тех, которые жалуются на человеческую «черствость» потому, что хотят, чтоб другие за них работали, потому, что хотят пройти сквозь жестокое наше общее испытание за счет других.

Эти моральные дистрофики находят тысячи правдоподобных причин, чтобы увильнуть от общих работ, тысячи поводов, чтобы что-нибудь лишнее сорвать, они бесконечно канючат, кланчат, жалуются и обвиняют в «нечуткости» всех, кроме себя.

Но если эти жалобы вызывают раздражение и неприязнь, то жалобы на одиночество рождают в сердце горечь и тревогу. Да, очень и очень многие, особенно у нас, в Ленинграде, стали одинокими, растеряли свои семьи, своих близких людей – это дело рук нашего врага, это трагический результат вражеской блокады... Но тут я сначала скажу несколько слов о прорыве блокады – тоже в связи с темой нашего сегодняшнего разговора.

Да. Великая радость совершилась в ночь с 18 на 19 января: линия немецкой обороны была прорвана. И вот многие ленинградцы восприняли это как конец испытаний, а у некоторых даже появились типично иждивенческие настроения по отношению к стране: мол, дороги теперь будут, страна должна нас прямо-таки завалить продуктами, а мы можем и отдохнуть... Нет, товарищи, это не так! От нас потребуются еще очень и очень много терпения и мужества, может быть даже больше, чем до прорыва блокады. Никто не имеет права «сдавать в порыве». Пусть ленинградское трудолюбие станет еще вдохновенней. Никто не должен питать никаких иждивенческих настроений – стране и так трудно, и так она дает нам все, что может. Пусть каждый мобилизует в себе все лучшее, все самое сильное, что родилось в его душе за время великой освободительной войны, мобилизует во имя окончательной победы над врагом...

8 февраля 1943

Хозяйка Ленинграда

Дорогие ленинградки!

Сегодня – наш женский день. Мы отмечаем свой праздник особо: в дни, когда каждый вечер жадно ловим голос Москвы, сообщающий сводку последнего часа, и бросаемся затем к нашим картам (в какой ленинградской квартире нет теперь карты?), чтобы отыскать название того русского городка, который снова стал нашим.

Мы встречаем 8 марта 1943 года как матери, жены, сестры и невесты *побеждающей* Армии, которая в упорных и тяжелых боях идет по русской земле к западным ее границам.

Они идут вперед, милые наши, давно ушедшие из дому, давно не виданные сыновья, мужья, братья. Им трудно, они пробиваются сквозь ржевскую пургу, сквозь весеннюю распутицу и ветры украинских степей, идут по железобетонной земле около Ленинграда; да будет с ними вся наша любовь – они идут вперед.

В эти дни отрадно знать, что мы, ленинградские женщины, являемся активными бойцами, уже имеющими огромный воинский опыт. Наши руки, наше сознание, наши сердца приобрели этот опыт в небывалом бою за свой родной город.

А ведь еще недавно немцы, штурмуя Ленинград, подвергая его ужасам блокады и воображая, что все это заставит ленинградцев сдаться, – осмеливались прежде всего рассчитывать на нас, женщин! Они ведь даже особые листовки писали и сбрасывали их в город – специально для ленинградских женщин. Да, да, двуногий скот, вообще не считающий женщину за человека, а тем более – русскую женщину, воображал, что мы окажемся слабее, боязливее мужчин и дрогнем первыми и, в страхе за себя и своих детей, откроем ему ворота города. Немец так и писал: «Женщины! Требуйте хлеба и объявления Ленинграда открытым городом. Саботируйте работы на оборону. Она несет вам гибель...» Но не страхом, а презрением к врагу исполнились сердца ленинградонок, утроив, удесятерив их силы – физические и моральные, и женщина вместе с Армией спасла свой город, сохранила

ему жизнь.

Благодарная память народа навсегда сохранит рядом с образом комсомолки Веры Чертиловой, поднявшей в атаку роту моряков, образ любой безымянной ленинградки, ведущей под руку ослабевшего мужчину по зимним улицам Ленинграда. Ведь эта женщина тоже шла в атаку. Ведь ленинградка была бойцом везде – и в ледяной комнате у печурки за стряпней обеда, и на огородах, и на крыше своего города. Все, что делала и делает ленинградка, есть невиданное еще в мире сражение за самые основы человеческой жизни.

Всеобщее, извечное, священнейшее чувство на земле – чувство материнской любви – ленинградка обогатила новым смыслом и глубиной. Специальные пытки придумывал немец для ленинградских матерей, чтобы заставить их сдаться: он пытал их жалостью к своим детям и близким. Ведь женщине всего тяжелей не свои собственные страдания и лишения, а страдания ее детей и близких. И сколько было в Ленинграде таких дней, когда мы ничем не могли помочь своим детям, ничем, как бы мы ни хотели. А палач-немец рычал в это время: «Сдавайся, женщина, покорись, перестань защищаться, и дети и близкие твои останутся живы...»

Но наша материнская любовь – это не слепая, животная привязанность к своим детенышам. Мы любим своих детей так страстно, что хотим, чтобы они были не только живы, но и свободны, чтоб они гордились собой, а не влачили существование забитыми батраками у немецких лавочников. И во имя этого мы вместе со своими детьми шли на все и даже на смерть, если было необходимо.

Я получила в июле прошлого года письмо от одной ленинградки-фронтовички, Елены Чижовой. Она писала в этом письме:

«Я потеряла сына, убитого на фронте, куда мы ушли вместе по призыву товарища Сталина. Я горда тем, что сын погиб, спасая друга, сражаясь за Родину...»

Только мы, женщины, знаем, что это значит – потерять свое дитя. Так какое же величие души надо иметь, как надо любить своего сына, чтобы *так* переносить его гибель!

Немец ждал, что утраты сломят нас духовно, заставят бессильно опустить руки. Нет! Женщины приняли на себя труд еще больший – в память погибших, во имя живущих.

Ленинградка Слатвинская пишет из далекого колхоза Кировской области, где она работает сейчас председателем правления колхоза:

«...И у меня в январе погибло в Ленинграде самое дорогое для меня существо, которому нет забвения и замены. Но жизнь во имя его, жизнь ради мести за него, ради спасения тысячи таких же, как он, помогает мне превозмочь боль и работать, работать, работать, выращивая ваш хлеб насущный ленинградский...»

Мы так любим своих детей и близких, что даже можем жить после их гибели с удвоенной силой – за себя и за них, ради таких, как они.

Немец разорил дом ленинградки, разметал ее семью, многих женщин оставил без семьи совсем. Но, хозяйка и семьянинка, ленинградка создала новую семью, огромную, такую, где подчас не все члены ее знают в лицо друг друга. Она превратила в одну большую семью весь Ленинград. Так чувство материнства расширило свои права безгранично.

Ленинградка Качановская пишет:

«Для нас, матерей, все дети – *наши* дети, – пусть это будет трехлетний ребенок или двадцатилетний юноша. А мать – это само трудолюбие, выносливость, это ненасытность в изобретениях для любимого детища...»

Мысль Качановской подтверждается письмом другой ленинградки – Веры Ч. (она просила меня не называть ее фамилии):

«Я тоже жила в большой и дружной семье. Все это отняла у меня война. Но я ни одного дня не чувствовала себя одинокой. Я работала в госпитале, помогала, чем могла, знакомым. Одну приятельницу сестры мне удалось в январе прошлого года вырвать из когтей смерти. И, несмотря на большие трудности, я черпала в заботе о других силу и энергию для тяжелой борьбы. А вот теперь у меня завязалась интересная переписка с бойцами Ленинградского фронта. Я решила поздравить по радио своих друзей-фронтовиков с Новым годом. И вот

после этого я стала получать массу писем от совершенно незнакомых мне бойцов. В большинстве это бойцы, у которых родные остались в фашистском плену и им никто не пишет. Со многими у меня завязалась самая теплая и дружеская переписка. И я счастлива, что мои несколько строк могут поднять дух бойца и звать его к новым победам».

Так оставшиеся без семьи Вера и бойцы создали новую, необычную семью. Общее горе и общая борьба породнили их крепче, чем может роднить кровь.

В Ленинграде, как и во всей стране, женщины заменили ушедших на фронт мужчин решительно во всех областях труда. Больше того – женщины встали рядом с мужчинами, как равные, и в армии, и на флоте. Но самое главное в том, что прежде всего, везде и всюду они остались женщинами – матерями, сестрами, дочерьми, подругами: ведь без женской заботы, любви и ласки народ не может ни жить, ни – тем более – воевать... Ведь мы-то сами, товарищи женщины, знаем, что нас заменить некому и некем...

И вот вечные, незаменимые женские качества – выносливость, самоотреченность, любовь – особенно ярко засияли в ленинградках, в женщинах того города, на долю которого досталось столько горя. Вспомним хотя бы, что в бытовых комсомольских отрядах, спасших жизнь десяткам тысяч ленинградцев, были только одни девушки и женщины.

Много тяжкого вынесла ленинградка в борьбе за свой город. Но она не прокляла его, а полюбила с обновленной силой: так любит мать свое дитя, рожденное ею в муке.

«Я счастлива тем, что я ленинградка, – пишет Нина Алексеевна Ситникова, пожарник Ленэнерго, – что небольшая доля и моей работы вложена в оборону нашего красавца города. Своей кровью, будучи донором, я также стараюсь принести пользу нашим доблестным воинам».

В своем приказе к двадцатипятилетию Красной Армии Верховный Главнокомандующий говорит: борьба с немецкими захватчиками еще не кончена, она только разгорается. Эта борьба потребует времени, жертв, напряжения сил и мобилизации всех наших возможностей.

Так говорит Верховный Главнокомандующий, обращаясь к Армии, призывая ее к окончательной победе.

Но мы знаем, что этим приказом Сталин обращается не только к Армии, но и к нам, женщинам.

Мы знаем также, что означают для нас слова: «жертвы», «напряжение сил», «мобилизация всех возможностей»... Уж очень много приняло и вынесло женское сердце за время войны, и тебе, хозяйка города-фронта ленинградка, известно это лучше других. Но, все израненное и обожженное, сердце твое готово принять все, что предстоит, во имя полной победы...

Еще тебе такие песни сложат,
так воспоют твой облик и дела,
что ты, наверно, скажешь: – Не похоже.
Я проще, я угрюмее была.

Мне часто было страшно и тоскливо,
меня томил войны кровавый путь,
я не мечтала даже стать счастливой,
мне одного хотелось – отдохнуть...

Да, отдохнуть ото всего на свете:
от поисков тепла, жилья, еды,
от жалости к моим исчахшим детям,
от вечного предчувствия беды,
от страха за того, кто мне не пишет
(увиджу ли его когда-нибудь?),

от свиста бомб над беззащитной крышей,
от мужества и гнева отдохнуть.

Но я в печальном городе осталась
хозяйкой и служанкой – для того,
чтобы сберечь тепло и жизнь его.
И я жила, преодолев усталость.

Я даже пела иногда. Трудилась.
С людьми делилась солью и водой.
Я плакала, когда могла. Бранилась
с моей соседкой. Бредила едой.

И день за днем лицо мое темнело,
седины появились на висках.
Зато, привычная уже к любому делу,
почти железной сделалась рука.

Смотри – как цепки пальцы и грубы!
Я рвы на ближних подступах копала,
сколачивала жесткие гробы
и малым детям раны бинтовала.

И не проходят даром эти дни,
неистребим свинцовый их осадок:
сама печаль, сама война глядит
познавшими глазами ленинградок.

Зачем же ты меня изобразил
такой отважной и такой прекрасной,
как женщину в расцвете лучших сил,
с улыбкой горделивою и ясной?

Но не приняв суровых укоризн,
художник скажет с гордостью, с отрадой:
– Затем, что ты – сама Любовь и Жизнь,
Бесстрашие и Слава Ленинграда!

8 марта 1943

Лето сорок третьего года (Письмо за кольцо)

В конце августа Ленинград отметит два года своего сопротивления, два года жизни во вражеской осаде.

Для нас, ленинградцев, не покидавших город с начала войны, это не просто два года: каждый месяц из этих двух лет разительно не похож на другой. Больше того – начало и конец ноября сорок первого года – это два совершенно разных периода в жизни города; за три месяца зимы сорок первого – сорок второго года каждый из нас пережил, почувствовал и познал столько, сколько не смог бы пережить за всю свою жизнь. Весна сорок второго и весна этого года лежат как бы в разных эпохах.

Мы встретили весну сорок второго года с удивлением и недоверием: как, неужели в

нашем городе вновь появятся листья и трава, вновь будет светло и тепло? До конца мая из подъездов промерзших насквозь домов несло смертным холодом. Еще и в июне многие из нас ходили в шубах и теплых шапках – мы всё не могли согреться. На первом – после той страшной зимы – концерте, пятого апреля сорок второго года, у людей, совершенно переставших плакать даже над самыми горькими утратами, впервые появились слезы на глазах при виде музыкантов не в ватниках, а в пиджаках, со скрипками в руках.

Так было весной прошлого, сорок второго года.

Весну этого года мы встретили с радостью, но без удивления.

Мы вовремя сменили шубы на демисезонные пальто. Уже никто, как то случилось в прошлом году, не съел тут же, в магазине, семян репы или моркови, выданных для посевов. На солнечной стороне Невского, на ступеньках подъездов и ящиках с песком не сидели цинготники, грея опухшие ноги с черными пятнами на коже; цинга была побеждена почти совсем. Никто не аплодировал проходящему трамваю, никто не плакал от счастья перед афишей с репертуаром театров и кино: все это и многое-многое другое, даже электричество в жилых домах, даже прохладительные напитки в киосках, вновь стало делом обыденным.

Быть может, никто, кроме нас самих, не поймет, какая это огромная победа и что она означает. Ведь враг все так же близок, как два года назад, и еще ожесточеннее стремится убить жизнь города.

Поэтому любая деятельность в Ленинграде есть деятельность военная, есть сражение.

Я в Ленинграде с начала войны; я, как и девяносто процентов ленинградцев, ни разу не видела «живого немца». Тем не менее я, как и все другие, нахожусь в состоянии ежедневной борьбы с ним.

Это безмолвная, ожесточенная, изнурительная борьба. Она изнурительна особенно потому, что это борьба с *врагом-невидимкой*. Невидимый мне, в сотни раз более сильный, чем я, женщина и горожанка, враг ежедневно посылает в город сотни, а то и тысячи снарядов, стремясь лишить меня дома, кровля которого и без того уже пробита десятками осколков, а стекла в окнах выбиты. Враг-невидимка ежедневно разрушает трамвайные пути, заставляя меня делать длинные концы пешком; он портит осветительную и телефонную сети, разъединяет меня с внешним миром, оставляет во мраке. Печь моя начинает внезапно дымить, потому что в трубу попал осколок; вместо того чтобы просто повернуть водопроводный кран, мне нужно идти за водой с ведром в соседний двор и тащить ее к себе на пятый этаж. Я иду в магазин, но враг-невидимка перед самым моим носом захлопывает дверь магазина: началась воздушная тревога. Когда она кончится? Будет ли цел мой дом или, вернувшись из лавки, вместо него я увижу груды развалин? Вечером я сажусь за мой письменный стол: назойливо, уныло свистят снаряды, мешая сосредоточиться, и я слышу, как хрустят стены города – враг ломает мой прекрасный город, увечит его. Нет ничего печальнее и душераздирающее этих звуков.

И все это ежедневно, и все это – уже третий год.

Один известный ленинградский врач говорил мне, что этой весной в Ленинграде зарегистрирована новая, специфическая для города болезнь, дающая довольно большое количество смертельных исходов – по крайней мере каждый третий из умирающих в Ленинграде умирает именно от этой болезни. Врачи называют эту болезнь «последствием замедленной бомбежки». Это особого рода гипертония – повышенное кровяное давление, которое образуется от непрерывного нервного напряжения – результата непрерывных обстрелов и бомбежек.

Человек внешне может почти совершенно не реагировать на обстрел и бомбежки, он может отлично «держаться в руках», но нервы его живут независимо от его духа, и больше того: чем лучше человек «держит себя в руках», чем напряженней и спокойнее трудится он, тем больше шансов у его нервов и кровеносных сосудов прийти в негодность. Мужество ленинградцев, восхищающее весь мир, полнокровная трудовая и интеллектуальная жизнь города не обходятся даром. Цена этого – здоровье горожан. Цена обороны города – его кровь.

Эти весна и лето ознаменованы особенно свирепыми артиллерийскими обстрелами. Трагичен был для нас день Первого мая. Немец бил по городу с утра, и варварский этот обстрел был, видимо, продуман. Враг направлял в течение пяти-шести минут ураганный огонь по самым оживленным участкам и затем на час, на сорок пять минут затихал. Полная тишина, люди понемногу начинали приходиться в себя, и вдруг снова шквальный огонь, десятки снарядов, и опять тишина – минут на сорок пять, и снова залпы, – и так весь день. Я была свидетельницей того, как на углу Невского и Садовой на трамвайных остановках упало пять фугасных снарядов и, как подкошенные, свалились десятки людей – женщины, дети, старики. Одна девочка запомнилась мне особенно: она бегала вдоль тротуара, скользя по крови, и переворачивала упавших ничком с криком: «Мама! Мама!» Она искала мать. Пять минут назад, нарядная и веселая, она шла с мамой в кино.

Вечером мы шли по тому же самому тротуару в здание Публичной библиотеки, в гости к друзьям, и было страшно ступать по асфальту, несколько часов назад багровому от человеческой крови. У всех нас, собравшихся провести вместе праздничный вечер, было тяжелое настроение. Мы выпили выданное к празднику вино, попросили приятельницу сыграть «Ирландскую застольную» Бетховена, спели эту песню, любимую в Ленинграде, так же как и на многих других фронтах. Но ни вино, ни музыка не смогли в тот вечер заглушить терзающее чувство скорби о погибших согражданах.

Тем не менее в городе, который ежедневно несет жертвы, никто не чувствует себя смертником, ни у кого нет чувства обреченности. Стремление к самым обычным удобствам и радостям характерно для нас. Так, какой-то обновленной любовью полюбили мы свои жилища – не потому ли, что враг все время стремится отнять их у нас? Этой весной ленинградцы особенно рьяно благоустроивали свои квартиры. Зима сорок первого – сорок второго года заставила многих покинуть свои дома и собраться в общежития в своих учреждениях. Но этой весной мы стали возвращаться в свои квартиры.

Мы состязались друг с другом в стремлении сделать наши жилища как можно удобнее, красивей и уютнее. Неважно, надолго ли это... Конечно, все приходилось делать своими руками, но это никого не смущало.

Мы не только обороняем наш город – мы заботливо бережем красоту его, конечно настолько возможно.

Этим летом в саду напротив Адмиралтейства вновь забил любимый ленинградцами фонтан. Хотя статуи вокруг него изранены: пробита осколком щека бронзового Лермонтова, изувечена шея Пржевальского, – но фонтан сверкает и журчит, радуя глаз так же, как цветы в Екатерининском садике и в саду Дворца пионеров.

Между тем каждый свободный клочок городской земли использован под грядки: гряды на Марсовом поле, возле исторических могил Жертв Революции; гряды на склонах Лебяжьей канавки; гряды прямо на улицах, даже во дворах.

Почти каждый житель города стал теперь земледельцем; на рынках уже появились молодой картофель, капуста, морковь. Надо сказать, что ленинградские рынки – особые: здесь не столько торгуют и покупают, сколько обмениваются продуктами. По-прежнему хлеб является основным эквивалентом всех ценностей, и на хлеб обменивается все остальное.

Вы спрашиваете, сколько стоит картофель, – вам отвечают: «грамм за грамм» или «сто за пятьдесят». Это значит, что за один грамм хлеба вы можете получить столько же картошки или свеклы или сто граммов капусты за пятьдесят граммов хлеба. Никто не ответит вам: «килограмм за килограмм» – в осажденном городе счет продуктам ведется все еще на граммы.

Но у ворот рынка, где всегда стоят несколько старух с букетами полевых цветов, та же женщина, которая только что отдала часть своего хлеба за молоко для детей, останавливается и совсем уже за крошечный ломтик покупает большой букет ромашки или колокольчиков и несет его, нередко под обстрелом, к себе домой, чтобы украсить свою комнату. Эти цветы собраны где-то на окраинах города, на передней линии фронта; они

напоминают осажденному горожанину о том, что уже третий год отнято у него, – о русских полевых просторах, лугах и лесах, о простой, неспешной мирной жизни. Напоминают и обещают, что она когда-нибудь вернется... А без веры в это нельзя жить и бороться, особенно в Ленинграде...

Август 1943

Наш комсомол

Сегодня хороший день, товарищи, – день рождения комсомола.

Двадцать пять лет, целые четверть века стукнуло нашему комсомолу – моему и вашему комсомолу! Я ревниво не хочу уступать этот праздник только той молодежи, которая состоит в комсомоле сейчас. Нет, это не только ее праздник – это *наш* праздник, общий, праздник всего народа. Потому что – ну кто же из нас, товарищи, не был в комсомоле? Если крикнуть сейчас: «Воспитанники комсомола, встаньте!» – встанут миллионы людей, и кого только среди них не будет: будут боевые генералы, матери больших семейств, известнейшие изобретатели, директора, артисты, рядовые бойцы... Иные расстались с комсомольским билетом уже давно, другие – как, например, я и мои сверстники – недавно, года два-три назад.

Я прошу извинить меня за это хвастовство, но именно сегодня мне очень хочется похвастаться, что я недавно была в комсомоле. Не будем скрывать, что многие из нас, бывших комсомольцев, стали не в переносном, а в буквальном смысле слова *старыми* комсомольцами, то есть седыми, почтенными людьми, отцами и матерями взрослых детей, а некоторые, может быть, даже уже и... дедушками и бабушками. Ну, внуки у них, наверное, еще маленькие, но все же... Ничего не поделаешь, товарищи старые комсомольцы, как уже установлено – время идет...

И все-таки праздник комсомола, его юбилей – это и наш праздник. Мы сдали свои комсомольские билеты, мы стали совсем зрелыми и взрослыми людьми, а наша молодость, наша комсомольская пылкая молодость осталась с нами, в нас. Да, да, я говорю правильно. Я имею в виду молодость как нечто неистребимо комсомольское, то, что называют обычно «комсомольской закваской». И она-то осталась в нас, во всех бывших комсомольцах. Эта чудесная закваска бродит в нас, не дает нам стареть душой, и вот потому-то мы сегодня не *вспоминаем* молодость, а *празднуем* ее вместе со всеми сегодняшними комсомольцами.

У нас нет никакой старческой зависти к нашей молодежи, никакого разрыва с ней, никакого непонимания, как то обычно было между отцами и детьми раньше, хотя сегодняшняя молодежь во многом не похожа на нас.

У нас все время, все двадцать шесть лет, один путь, одни идеалы. И именно поэтому завоевания и победы комсомола близки нам как свои собственные, и ощущение, что комсомол – *наша* организация, не покидало нас никогда, и никогда не оставляло чувство заботы и иногда даже тревоги за судьбы и пути комсомольской организации.

Так, незадолго до войны мне, как и многим из вас, казалось, что нынешние комсомольцы слишком просто относятся к комсомолу, к своему членству в нем... Очень уж легко доставался им *наш* комсомол по сравнению со старшим поколением комсомольцев – эпохи гражданской войны – и даже нами – комсомольцами первой пятилетки. Очень уж просто и беззаботно жили наши предвоенные комсомольцы. Страна, уверенно идущая к богатству, с материнской, подчас чрезмерной щедростью баловала своих детей и юношество: все так и плыло им в руки – и образование, общее и профессиональное, и заработки, и широчайший выбор работы и искусства, дворцы, стадионы, театры, великолепный отдых – да, все, все! Это было отлично, но в этом таилась и некоторая опасность, что юношество наше изнежится и в жестокий час испытаний эта изнеженность даст знать о себе.

Но когда наступила война, когда встал вопрос о жизни и смерти народа – с облика комсомола быстро исчез налет «довоенного» благодушия, кажущейся беспечности. И юноши

и девушки, носящие звание члена Коммунистического Союза Молодежи, проявили себя так, что мы имеем право гордиться ими перед лицом всего мира. И особенно имеем право гордиться ими мы – все бывшие комсомольцы. В тягчайшей и справедливейшей войне нашей комсомол не только не посрамил знамен, переданных ему всеми предшествующими поколениями комсомольцев, не только не растерял славных традиций, но покрыл комсомольские знамена новой нетленной славой, умножил прекрасные комсомольские традиции.

Незабвенен облик комсомольцев эпохи гражданской войны, облик комсомольцев – строителей пятилеток. Все эти поколения делали свои вклады в общий облик и понятие «комсомолец», все они оставили свою долю вечной молодости – «комсомольской закваски», но, мне кажется, не было еще вклада более крупного и ценного, чем тот, который сделали комсомольцы в дни Великой Отечественной войны. В кровавых боях, на грани жизни и смерти, в тяжком, порой почти непосильном для молодых труде, в жгучих раздумьях возникают черты нового человека в наших комсомольцах, до сияния кристаллизуются и концентрируются в отдельных лучших людях комсомола.

Комсомольцы за время войны дали десятки имен, которые стали драгоценными всему народу, имен, произнося которые, мы как бы называем ими лучшие человеческие свойства. Мы произносим коротенькое имя Зоя – и оно звучит для нас как «Верность». Мы говорим: Полина Догадаева – и имя комсомолки, создавшей первый бытовой отряд в страждущем зимой сорок первого года Ленинграде, звучит для нас как символ воинствующего милосердия и великодушия.

Мы говорим: Александр Матросов – и имя комсомольца, закрывшего своей грудью амбразуру вражеского дзота, звучит для нас как «Самопожертвование»... Мы говорим: Феодосий Смолячков – и имя снайпера-истребителя равносильно понятию самой деятельной ненависти.

Преданная Родине до самопожертвования – вот какова наша молодежь, вот каковы наши комсомольцы.

...Среди различных документов я особенно бережно храню один – письмо комсомольца-балтийца Евгения Червонного к своей жене Наташе. Это предсмертное письмо. Евгений Червонный писал его, зная, что скоро погибнет. Но вы не найдете в нем ни страха смерти, ни нот обреченности. Оно полно света и свободы. Это письмо человека, страстно любящего жизнь, оценившего ее во время войны по-новому, зрело и глубоко. Он пишет: «Нам пришлось узнать правду жизни, горькую и твердую, раньше срока, который положен по возрасту. Но тем дороже становится жизнь. Познаешь действительную цену ее, и каждый день или час ее представляется уже не мелочью». Да, он очень любил и ценил жизнь и с презрением говорил о тех, кто недостойно играет ею. И тем не менее по доброй воле он пошел на самую опасную военную работу, имея возможность быть на менее опасной. И сделал он это потому, что, как писал, «здесь можно найти полное применение себе и принести максимум пользы». Проще – это было желание отдать все, что имеешь.

Отдать все, что имеешь, и отдать не потому, что так велит долг, а больше потому, что это потребность сердца, – вот самая величественная, самая лучшая человеческая черта, завоеванная для людей комсомольцами Отечественной войны. Какая в этом безграничная свобода и какая богатая, щедрая, полная жизнь! Ведь самой полной жизнью живешь именно тогда, когда с радостью свободно отдаешь все, что имеешь, благородному общему делу. Тысячи защитников родины являются людьми грядущего. Был таким человеком и Червонный.

...Евгений очень любил свою жену Наташу. Так любил, что, заканчивая письмо, писал: «Я знаю, что тебе трудно будет смириться с мыслью об утрате своего Женьки. Но, прошу тебя, не давай никаких обетов. Постарайся быстро рассеять все мрачное. Устраивай свою жизнь счастливо, так, чтобы могла пожить и за меня».

Он дрался, жил и умирал за жизнь, за живых людей. Он хотел, чтобы они были счастливы. Он не говорит никаких выпендренных слов о бессмертии, не претендует на него, но,

когда пишет жене: «Будь счастлива, поживи и за меня», он бессмертен. Для него нет смерти. Для него есть только жизнь. И он знает: если он умрет, за него будет жить та, во имя которой он жил, дрался и умер.

Ты чувствуешь или нет, товарищ, какой прекрасный человек, рожденный в дни справедливой войны, встает за строками этого письма?

Вот какие они, лучшие наши комсомольцы, наш сегодняшний комсомол!

Какая честь, товарищ, что ты, и я, и миллионы наших друзей принадлежали и до сих пор душой принадлежим к такой организации, к нашему комсомолу! Какая радость, что живет в нас, живет комсомольская закваска! Какая гордость для всех нас, для всего народа, что есть у нас наш комсомол, славное двадцатипятилетие которого всем сердцем празднуем мы сегодня! И как хорошо получилось, что этот праздник выпал на дни, когда наша армия гонит постылого врага из России!

Мы никогда, никогда, даже в самые черные дни, не сомневались в том, что одолеем врага, что добьемся победы. Сейчас мы уже отчетливо видим ее контуры. Потому-то так торжественно отмечает весь народ, ведущий тяжелейшую битву, праздник своего комсомола, своих юных детей, которые так беззаветно отдают свою молодость достижению этой – уже недалекой – победы.

Будет вечер – тихо и сурово
о военной юности своей
ты расскажешь
комсомольцам новым –
сыновьям и детям сыновей.

С жадностью засмотрятся ребята
на твое солдатское лицо –
так же, как и ты смотрел когда-то
на седых буденновских бойцов.

И с прекрасной завистью, с порывом,
с тем, которым юные живут,
назовут они тебя счастливым,
сотни раз героем назовут...

И, окинув памятью ревнивой
не часы, а весь поток борьбы,
ты ответишь:
– Да, я был счастливым.
Я героем в молодости был.

Наша молодость была не длинной,
покрывалась ранней сединой.
Нашу молодость рвало на минах,
заливало таллинской волной.

Наша молодость неслась тараном –
сокрушить фашистский самолет.
Чтоб огонь ослабить ураганный,
падала на вражий пулемет.

Прямо сердцем дуло прикрывая,
падала, чтоб Армия прошла...

Страшная, неистовая, злая –
вот какая молодость была.

А любовь – любовь зимою адской,
той зимой, в осаде на Неве,
где невесты наши ленинградские
были не похожи на невест...

Лица их – темней свинцовой пыли...
Руки – тоньше, суше, чем тростник...
Как мы их жалели, как любили,
как, тоскуя, пели мы о них!

Это их сердца неугасимые
нам светили в холоде, во мгле.
Не было невест еще любимее,
не было красивей на земле!

...И под старость, юность вспоминая,
– Возвратись ко мне, – проговорю, –
возвратись ко мне опять такая,
я такую трижды повторю.

Повторю со всем страданьем нашим,
с той зимою, с тою сединой, –
яростную, горькую, бесстрашную
молодость, крещенную войной.

29 октября 1943

Мой рубеж (Письмо за кольцо)

Я хочу рассказать сегодня о некоторых рубежах, на которых жители Ленинграда ведут свой многодневный и сложный бой с осаждающими их немцами: я хочу рассказать о наших домах и квартирах.

Если когда-то (неужели это было менее двух лет назад?!) выражения «мой угол», «моя квартира», «мой дом – моя крепость» были неразрывно связаны с представлением о чем-то глубоко мирном и уютном, то сейчас эти слова звучат для нас так же, как для каждого солдата слова «окоп», «блиндаж» или «рубеж», и дома наши стали крепостями, и не в переносном, а в самом буквальном и довольно страшном смысле.

Да, дом №7 по улице Рубинштейна, где я мирно жила целых одиннадцать лет, с июня 1941 года перестал быть просто домом, а стал объектом вооруженного нападения со стороны врага и объектом вооруженной защиты с моей стороны. С тех пор мы так и называем наши дома: «жилые объекты». И все части наших домов утратили теперь свое прежнее, мирное значение и названия: окна – это «световые проемы», потолки и полы – «перекрытия», крыши – «наблюдательные посты». И более того: редкий дом в Ленинграде не имеет бойниц и пулеметных гнезд, редкий угловой дом не превращен в долговременную огневую точку. Это было сделано тогда, когда мы думали, что, может быть, придется драться с немцами у порогов своих жилищ, – осенью сорок первого года – и готовились к этому.

В квартире №2 моего дома, в угловой комнате, где жил Костя О., тоже устроили долговременную огневую точку. Одна бойница смотрит на улицу Рубинштейна, другая – на

Пролетарский переулок. Я до сих пор, хотя прошло уже полтора года, не могу отделаться от чувства щемящего недоумения, проходя мимо этой огневой точки; мне все вспоминается, как в этой самой комнате Костя, страстный филателист, показывал нам тысячи редчайших марок всех стран света, с красивейшими пейзажами, с цветами и зверьми, с изображениями целых событий, городов, стран... Где же теперь мир этот, разнообразный и увлекательный, красивый и манящий, запечатлевшийся на марках, где он, что сделали с ним? В тот день, когда комната, где мы разглядывали тысячи маленьких изображений мира, была превращена в дот, для того чтобы стрелять отсюда по немцу, который мог, на самом деле мог, подойти сюда, к нашему Пролетарскому переулку, – я ощутила с необычайной остротой, что действительно в мире произошло что-то непоправимое, и это надолго. Он надолго отнят от нас, и это есть война.

Наши войска не допустили немца в город, мы не дрались с ним в домах и на улицах. Поэтому нам, горожанам, пришлось и приходится сейчас сражаться с немцем иначе, чем мы думали вначале: наше сражение с немцем заключается в том, что немец всеми мерами стремится к тому, чтобы уничтожить самые основы, самые возможности существования людей в Ленинграде – хочет *выжить* нас из нашего города, а мы не даем ему это осуществить.

Мой дом, жилой объект №7 по улице Рубинштейна, до сих пор не пострадал ни от бомбы, ни от снарядов. В нем целы даже все стекла: инженеры уверяют, будто бы это оттого, что дом, когда вблизи падает снаряд или бомба, не трясется, а «вибрирует». И вот он «провибрировал» до сих пор, до ноября сорок третьего года, не потеряв ни одного стекла. Но в декабре сорок первого года, когда из-за вражеской блокады в городе не стало топлива, дом перестали топить – и от мороза в нем лопнули трубы парового отопления, водопроводные и канализационные трубы. В доме не стало ни света, ни воды, ни тепла – как почти во всех домах Ленинграда. Жилец нашего дома из квартиры №10, Вл. Кнюх, замерз в своей квартире, у себя на кровати, как в степи. Жить в нашем доме стало невозможно. И многие, как Кнюх, погибли в своих квартирах. Но большинство жильцов ушло из дома и сгрудилось в общежитиях, при своих учреждениях и предприятиях, в то время как другие приютились у друзей и знакомых, которые сумели обзавестись примитивной жестяной печкой.

Быть может, никто острее ленинградцев не испытал печаль бездомничества: мы бездомничали в своем родном городе, возле своих домов.

Я тоже покинула свою квартиру, где черная, вылившаяся из радиаторов вода замерзла, покрыв льдом весь пол: я перешла жить в общежитие при Доме радио. Я приходила на свою квартиру очень редко, только затем, чтобы взять какую-нибудь нужную мне вещь. Приходя, я замечала, как холодная пыль наслаивается на всех вещах моего бывшего жилища, и мне казалось невероятным, что когда-нибудь я вновь буду жить не в «казенном» углу, а в «своей квартире». Это страшило после первой блокадной зимы. Слишком много ужасного испытали мы все именно в своих квартирах, и казалось, что с возвращением в них все повторится вновь.

И, однако, это произошло быстрее, чем мы все ожидали. Одной из деталей той огромной моральной победы, которую одержали осажденные ленинградцы над немцами, было их возвращение в свои дома, было создание на своих «жилых объектах» настоящего домашнего очага, преодоление бивуачной психологии, ощущения, что можно жить «пока», «где-нибудь» и «как-нибудь».

Нет, мы решили жить как люди: в своих домах, в своих квартирах, и даже с бытом и уютom!

Никто из нас, жильцов дома №7 по улице Рубинштейна, не вернулся в этот дом ни осенью сорок второго года, ни даже весной сорок третьего; бедный дом пока что совершенно непригоден для жизни. Он стоит совсем целый, как я уже писала, – даже со стеклами. Но бумажные кресты на стеклах свидетельствуют о том, что дом брошен: в жилых квартирах теперь нет этих крестов. Их с отвращением содрали вернувшиеся в свои жилища...

Но мы не можем вернуться в свой дом, мы временно или постоянно получили комнаты

или квартиры в других домах... Ведь в Ленинграде теперь так много пустых квартир!..

Мы возвращались на старые свои квартиры или занимали новые так же, как занимают солдаты рубежи, с которых врагу временно удалось их выбить. Мы понимали, что нам следует очень сильно укрепить эти свои жизненные рубежи: война продолжается, осада все еще длится, а мы будем воевать до победы. Мне пришлось укреплять свой рубеж, то есть приводить в порядок свою новую квартиру, очень долго, так как я получила, как и многие другие, квартиру, хозяева которой погибли во время зимы сорок первого – сорок второго года, оставив свое жилище малопригодным для жизни...

Стекла в комнате, выходящей на улицу, были выбиты воздушной волной от снаряда, разорвавшегося в соседнем доме. Но мы ненавидим «зафанеренные», то есть забитые фанерой, окна – за время тяжелой блокадной зимы мы так полюбили свет. И мне хотелось обязательно «застекляться». Я понимаю, что в наших условиях стекла могут вылететь снова через час после того, как их вставишь... Но все равно!.. А оконного стекла в Ленинграде нет... Но в магазине художественных изделий продавались застекленные портреты... Мы купили несколько десятков таких портретов и, расстеклив их, вставили стекла в окна. На окна моего кабинета пошло шесть Пушкиных и три Гоголя. А маленькая печка с плитой у меня в столовой сложена из кирпичей ближайшего разбомбленного дома. Там же нашли мы конфорки и решетку для нее, а в развалинах на Моховой улице было обретено настоящее сокровище – несколько целых кафельных кирпичей, – они пошли на облицовку развалившейся плиты в кухне.

А перекладывал мне плиту, стеклил окна, попутно обучая этому меня, мой друг Всеволод Марин, заместитель директора Публичной библиотеки. Книжник и библиотекарь, этот человек стал во время войны настоящим и знающим универсалом в области жилищного хозяйства; он кровельщик, монтер, печник, стекольщик. Хочется похвастаться, что я тоже умею чистить дымоходы, могу, при соответствующей консультации, стеклить окна, сумею прочистить трубу в раковине на кухне... Нет, теперь немцу не выбить меня из моего жилища. Только снаряд может заставить меня переселиться в другое место, но и на новом месте я стану обосновываться так же основательно и прочно, как здесь, не думая о том, сколько времени удастся мне прожить здесь до нового снаряда. Недавно мой знакомый артиллерист, гвардии капитан, зашел ко мне.

– Хорошее у вас помещение, – сказал он, – но мало накатов.

– Да, – ответила я. – Всего один накат. Ваше дело, капитан, сохранить мне мое помещение.

– Мы стараемся, – улыбнулся он. – Мы стараемся для всего города.

Капитан Резников служит в гвардейском артиллерийском полку, ведущем контрбатареиную борьбу с немцами. Наши усилия слиты: он защищает наши жилища огнем своих орудий, мы бережем их как домашний очаг.

...Сейчас на Невском, напротив полусгоревшего Гостиного двора, открыта выставка. Эта выставка – наглядное пособие по подготовке к третьей блокадной зиме. Здесь горожане могут перенять лучшую систему утепления водопроводной сети, лучшую систему печного отопления. Здесь представлено множество систем печек, а наиболее совершенная из них – это печка «Ленинградка». Она выложена белыми изразцами, высокая, в нее вмазан котел, который может обогревать целых три батареи при минимальном потреблении топлива.

Недаром же дали этой печке имя «Ленинградка» – она действительно, подобно ленинградской женщине, щедра на тепло, требуя для себя лишь самый минимум.

А рядом с «Ленинградкой», рядом с усовершенствованной системой простейшего утепления водопровода стоят немецкие бомбы и снаряды всех калибров. Некоторые, как, например, бомба в тысячу килограммов, – невзорвавшаяся, но большинство – наполовину, на три четверти взорвавшиеся. Это снаряды и бомбы, принесенные сюда с ленинградских улиц, подобранные среди развалин. Они уже разрушили чьи-то, с таким трудом оборудованные жилища, уже убили кого-то из ленинградцев. Это снаряды-убийцы, снаряды – грабители и разбойники. Над ними нет никаких агитационных надписей, они выставлены просто так, для

обозрения. Но это молчаливое сопоставление красноречивее всего: на небольшой выставочной площадке противопоставлены два мира: мир злобного разбойничьего разрушения и мир воинствующего трудолюбия и созидания. Мир, в котором люди заботливо и упрямо берегут на своих «жилых объектах» свои домашние очаги – вопреки всему. Этот мир не может не победить мира зла и хищничества.

Ноябрь 1943

Артиллерийский обстрел продолжается (Письмо за кольцо)

С осени 1943 года на моем доме, как и на тысячах других домов Ленинграда, появилась новая надпись – белые буквы на синем квадрате: «Граждане, при артиллерийском обстреле эта сторона улицы наиболее опасна...»

Да, нам уже точно известно, какая сторона улицы наиболее опасна, какие улицы наиболее простреливаются, на каких трамвайных остановках или площадях чаще всего ложатся снаряды, – так долго живем мы под непрерывным обстрелом. Более двух с половиной лет не сводят мушки немцы и финны с нашего города, а значит – с каждого из нас.

...Вот и сейчас – не успела я написать два первых абзаца, как слышу характерный свист снаряда (это тяжелый фугасный)... и взрыв и долгий гул (да, это тяжелый, калибр не менее двухсот миллиметров – взрыв сильный, и гул обвала продолжительный). Сейчас – ночь, ноль часов восемнадцать минут... Вот еще свист и взрыв, ближе... Надо уйти из комнаты: она выходит на ту сторону улицы, которая «наиболее опасна при обстреле». А эта, куда я перешла и где продолжаю писать, выходит окнами во двор, в противоположную сторону. (Еще взрыв – ноль часов двадцать три минуты.) Здесь... «безопаснее»! Здесь мне угрожает только прямое попадание снаряда через крышу, прямо в эту комнату. Если же снаряд попадет в кабинет, из которого я ушла, – может быть, капитальная стенка между ним и этой комнатой выдержит, и я останусь жива. Еще три взрыва – один за другим. (Я так и думала, – что это в наш район. Вот диктор объявил обстрел... «Населению – немедленно укрыться», – сказал он.) Сейчас – ночь, ноль часов двадцать шесть минут. В течение восьми минут, пока я писала эту страницу, убиты десятки ленинградцев, разорены десятки квартир. В нескольких минутах ходьбы от меня, в темноте и холоде, льется кровь, рыдают дети, и санитары и дружинницы, освещая ручными фонарями то, что совсем недавно было мирным спящим домом, а теперь – очаг поражения, уносят мертвых и раненых и «складывают людей»... Это термин у нас такой есть – «сложить человека», то есть собрать его растерзанные части в одну кучку.

Диктор повторяет: «Артиллерийский обстрел района продолжается». Я уже не фиксирую взрывов.

Последнее время немцы начали часто применять ночные обстрелы. Но это только один из многочисленных приемов обстрела города. За два с половиной года неустанно, с дьявольской изощренностью изобретают враги способы уничтожения горожан. Они до пятидесяти раз меняли тактику обстрелов. Цель одна: как можно больше убить людей.

Иногда обстрел носит характер бешеного огневого налета – сначала по одному району, затем по другому, потом по третьему и т. д. Иногда до восьмидесяти батарей бьют по всем районам города сразу. Иногда дается сильный залп одновременно из нескольких орудий и затем продолжительный интервал – минут на двадцать – тридцать. Это делается с расчетом, что минут через двадцать тишины укrywшиеся люди вновь выйдут на улицу, и тут-то вновь можно дать по ним новый залп. Обстрелы такого рода ведутся обычно по нескольким районам сразу и длятся иногда, как в начале декабря, до десяти и более часов подряд. Этим летом были обстрелы, длившиеся по двадцать шесть часов подряд.

Враг бьет по городу утром и вечером, учитывая, что в эти часы люди идут на работу

или возвращаются с нее.

В это время он бьет главным образом шрапнелью, чтобы убивать людей. Шрапнель применяется также часто по воскресеньям и праздникам, когда люди выходят на улицы отдохнуть.

Но сейчас, когда я пишу, он посылает нам не шрапнель, а тяжелые снаряды. Ведь прежде чем убить спящего человека, нужно ворваться к нему в дом... Ночью немцы бьют главным образом по самым населенным частям города, где больше всего спит людей. Они стреляют по сонным, не одетым даже, по незащищенным. Так «воюют» немцы!

Пленные, как один, показывают: гитлеровцы давно уже утратили надежду взять Ленинград. Они вымещают теперь свой позор под Ленинградом на его гражданах – женщинах, стариках и детях...

Есть у нас мальчик (увы, один из многих) десяти лет, Петя Дьяконов. Во время одного артобстрела ему оторвало обе ручки. Мальчик долго лежал в больнице, его выхаживали врачи, мать приходила к нему так часто, как ей позволяла работа. Мальчик вылез, пришел домой. Вместо рук у него были два обрубка. Как лелеяла его мать, как старалась скрасить его жизнь – инвалиду Отечественной войны десяти лет. Восьмого декабря мальчик был на улице – мама вела его в кино. Немец начал стрелять по городу. Мальчику оторвало левую ногу, и на глазах его убило мать.

Вот новая «победа» генерал-полковника Линдемана!

Мальчик лежит в больнице. Он рассказывает сухим, деревянным голосом, подробно, бесстрастно. Закончив рассказ, он сказал: «Теперь я остался один» – и отвернулся от людей к стене, не плача.

Иван Карамазов говорил когда-то: «Не хочу я будущей гармонии, если хоть одна слезинка замученного ребенка останется неоправданной». Судите сами, чем же должна оправдать Россия кровь и слезы хотя бы одних ленинградских детей, хотя бы отсутствие слез у десятилетнего инвалида Пети Дьяконова.

Немцы и финны стреляют по Ленинграду только потому, что Ленинград не может быть взят ими, потому, что Ленинград живет. Он живет, я сказала бы, ожесточенно, вопреки всему, – «стиснув зубы, с железной решимостью», как говорили раньше.

Этой осенью, в те же дни, когда на наших домах появилась надпись: «Эта сторона наиболее опасна во время артобстрелов», открылось в Ленинграде художественное училище. Задачи училища – готовить мастеров внутренней отделки домов Ленинграда: специалистов по художественной лепке, окраске, по работе с мрамором и драгоценным деревом. Да, да, мы готовим мастеров украшения ленинградских жилищ! В начале декабря юные ученики разгружали подошедшую к зданию машину. Машина привезла скульптуры и гипс – пособия для занятий. Первым снарядом она была раздроблена в щепу, и из двадцати шести учеников, разгружавших ее, только три остались невредимы. Остальные были или убиты, или ранены. Двое из них, Иосиф Короп и Вася Реутов, лежат рядом, в одной палате. Васе только недавно вынули из груди осколок. Они оба тяжело ранены, но оба надеются вернуться в свое училище, чтобы снова учиться художественной отделке зданий и сразу, как это только можно будет, начать украшать свой город.

Мария Ивановна Егорова шестого декабря шла с мужем по улице. Мария Егорова была на последнем месяце беременности. Внезапно начался огневой налет. Супруги прижались к стене, муж закрыл своим телом жену. Он был убит четвертым снарядом. Жену ранило в руку. Скорая помощь повезла ее прямо в родильный дом. Она родила в то время, когда ей перевязывали раны, и родила сына. Она назвала его Александром, как звали ее погибшего мужа...

Диктор опять сказал: «Внимание, внимание! Артиллерийский обстрел района продолжается». Один час тридцать минут ночи.

Уже принято восхищаться мужеством ленинградцев... Однако мало кто понимает, что это значит. Многие думают, что это равнодушие к лежащим рядом снарядам... Одна москвичка сказала мне даже: «Да ведь вы же просто привыкли к обстрелам». Это ерунда! Мы

– обыкновенные, живые люди. Ни привыкнуть, ни быть равнодушным к смерти, даже если она грозит тебе ежеминутно два с половиной года подряд, нельзя.

Одна моя знакомая, журналистка Калинина, рассказывала мне: «Однажды я попала под сосредоточенный огонь на Аничковом мосту. Не понимаю, как я осталась жива, – почти все, кто был в эту минуту на мосту, погибли. Я еле перебежала мост и нырнула в подъезд... Теперь, даже в часы абсолютной тишины, мне надо делать над собой страшные усилия для того, чтобы перейти Аничков мост». – «Но ведь вы же можете ходить окольным путем», – возразила я. «Да, но по Аничкову мне ближе... Но как я боюсь его...»

Калинина не только по воспоминанию боится моста – она знает, что ее здесь может в любую минуту убить. Но она идет по нему, делая над собой усилие, и имя этому усилию – мужество.

Воля к жизни, к деятельности сильнее, она не убита, она заставляет нас делать усилия над собой и жить и работать в полную силу в нашем городе.

Нет, под снарядами мы не ходим с гордо поднятой головой – это просто глупо. У нас целая система хождения по улицам во время затяжных обстрелов. Так, пятого декабря, в день, когда обстрел длился одиннадцать часов, совсем по-особому шли люди в городской лекторий. Они двигались по «наименее опасной стороне», прижимаясь к стенам, прячась в подъездах, когда вблизи свистели снаряды, перебегая из подворотни в подворотню, а когда надо – ложась на снег. Никто не стыдился этого, никто никого не осуждал – они шли на лекцию типично фронтовыми перебежками.

...А враг все еще кладет снаряды в наш район. Диктор говорит через равные промежутки времени: «Артиллерийский обстрел района продолжается...»

Я солгала бы, если бы сказала, что мне сейчас страшно. Я солгала бы, если б сказала, что мне безразлично. Нет, какая-то тоска, похожая на чувство глубокого одиночества, сжимает сердце и словно тянет его вниз... Это, наверно, тоска человека в нечеловеческих условиях. Это сильнее и страшнее страха. Минутами хочется лечь прямо на пол, лицом в ладони, и застонать от этой глубокой, тянущей сердце тоски, от боли за тех, кто сейчас погибает... Но я не позволю себе сделать этого – я написала вам об этой ночи, я хочу, чтоб вы знали об этой ночи – двадцатого декабря в Ленинграде, – увы, об одной из сотен...

Мы обязательно будем судить их здесь, в Ленинграде. Мы ведь помним все, где, в какую минуту, куда упал снаряд. Мы найдем тех, кто их посылал сюда...

Третий час ночи. Лягу спать. И все-таки первые несколько минут полежу ничком, лицом в подушку. А диктор говорит: «Артиллерийский обстрел района продолжается...»

20 декабря 1943

Дыхание грядущей победы

Дорогие товарищи!

Сегодня мы будем встречать Новый, 1944 год. Это третья военная новогодняя встреча. Это очень много.

За это время каждый из нас прожил большую, сложную, богатую событиями жизнь. Уже у каждого есть не только общие, но свои, личные, неповторимые военные воспоминания, в том числе воспоминания о прошлых новогодних встречах. Как у всех, есть они и у меня... И вот я вспомнила сегодня, что в сорок первом году, накануне Нового года, я выступала по радио с «Письмами на Каму»... Мне хотелось выразить в этих стихах наше общее настроение, они заканчивались строками:

О, какая отрада,
какая великая гордость
знать, что в будущем каждому скажешь в ответ:
– Я жила в Ленинграде

в декабре сорок первого года,
вместе с ним принимала
известия первых побед.

Да, это было в декабре сорок первого года. У нас часто теперь вспоминают те дни только как сплошной мрак. Но я хочу напомнить вам, дорогие товарищи, что тогда вы... даже стихи слушали и, несмотря ни на что, не теряли веры в победу.

Но, правда, если б нам тогда сказали, что мы еще *два раза* встретим Новый год в блокаде, то мы бы пришли в ужас. Но мы сами сил своих не знали. А оказалось, что силы у нас неисчерпаемы: встречаем в осаде *третий* Новый год, правда совсем иначе, чем два года назад, но все же... Но уж *четвертый* Новый год мы таким образом встречать не будем! Довольно, хватит! И уж теперь это не просто *вера* в победу, а спокойное знание ее сроков...

Сорок третий год мы встречали в те дни, когда армия наша наступала, когда немцев окружали под Сталинградом. Сорок третий год расцвел для нас ночью с восемнадцатого на девятнадцатое января, ночью прорыва блокады. Нельзя без душевного волнения вспоминать эту ночь. А через четырнадцать дней, второго февраля, мы узнали о полном и блистательном разгроме гитлеровских армий, окруженных под Сталинградом.

Мы никогда не жили и не живем только своими, узко ленинградскими радостями и печальями. Всем сердцем переживаем мы все, чем живет наша мать-родина. Эту высокую, в войне обретенную гражданственность нам нужно сберечь навсегда. В самом деле, вспомним, как мы страдали за Сталинград, когда враг пытался сломить его. А когда, зажатые нашими войсками, остатки немецкой армии вынуждены были сдаться – как радовались мы этой легендарной победе!

Так начался сорок третий год.

Завтра мы встретим сорок четвертый год – год наших новых побед. А что это значит? Это значит, что, может быть, очень скоро мы вновь придем в наш Пушкин, в наш Петергоф, в нашу Гатчину... Они выжжены, разрушены, истерзаны. Наверное, мы даже не узнаем их, когда придем туда... Об этом даже говорить больно... Но ведь это уже реально, что мы придем туда и будем бережно восстанавливать их... Мы, начавшие сорок третий год с прорыва блокады, встречаем сорок четвертый год с твердой уверенностью, что в этом году блокада будет снята полностью, что сорок пятый год мы встретим в освобожденной Ленинградской области.

Дыхание несомненной грядущей победы чувствуется во всей нашей жизни. Уже сейчас, в то время как мы еще находимся в осаде, в то время как враг еще обстреливает наш город, – уже сейчас упрямо начали мы строить наше мирное будущее. Оглянитесь сами: еще рушатся стены ленинградских домов, но художественное училище готовит мастеров, которые будут украшать наши здания; еще корабли наши стоят на Неве, но мы уже готовим кадры строителей тех кораблей, которым будут открыты все моря мира. Еще каждого из нас может изувечить снаряд, но физкультурный техникум уже открыл прием студентов – будущих мастеров спорта.

Так, в разгаре войны, в осаде, на фронте, под разрушительным огнем противника мы закладываем наше близкое мирное, созидательное будущее. Мы хотим встретить победу во всеоружии. Мы сможем сказать будущему миру: «Еще в гуде войны мы вынынчили тебя».

Нет, наверное, мы не будем просто восстанавливать разрушенное. Наверное, мы будем заново рождать наш город, наш быт, весь наш мир. Они будут почти такими же, как раньше, и в то же время не совсем прежними. Я, как и вы, думаю – лучше. Но я также думаю, что мы тоже уже никогда-никогда не будем такими, как были до войны. Что-то умерло в нас, может быть даже хорошее, что-то новое родилось – сильное, дерзкое, упрямое, что помогает нам преодолевать усталость, неизбежную при нашем быте...

Дыханием несомненной грядущей победы овевана встреча сорок четвертого года. Но победа требовательна. Она уйдет от нас, если мы ослабим свои усилия для ее достижения. Только мы сами знаем, какого отдыха мы все уже заслужили, но враг еще не добит, и мы

должны напрячь все силы, чтобы добить его. Мы добьем врага. Мы верим в самих себя, и с этой верой в свои силы каждый из нас встречает новый, сорок четвертый год.

Новогодняя полночь снова
в осажденный город пришла,
как посланница края родного,
хороша, строга и светла.

Снег на шлеме ее синееет,
на тулупе – звездный узор,
и клубится и блещет за нею
невозможный российский простор –

тот простор без конца, без огляда,
неразгаданный, сказочный, свой,
тот, который давно в Ленинграде
называют Большою Землей.

Часовые полночь встречали
возле всех ленинградских застав
и, приветствуя, сообщали,
как велит новогодний устав, –

что на вверенных ей участках
многотрудные битвы идут,
но, как встарь, ожидается счастье
в наступающем Новом году...

...Прямо с ходу, прямо с дороги
полночь к нашим домам подошла,
отряхнула снег у порога
и у каждого села стола.

И сказала, из ковanej фляги
все стаканы наполнив подряд:
– Пью за грозный военный лагерь,
именуемый – Ленинград.

Но не кубок с вином, а сердце
подняла б я над головой
за солдат и за офицеров
наших Армий, идущих в бой.

Всю бы жизнь свою подняла я –
осуши ее всю – до дна, –
за победу твою и славу,
дорогая моя страна.

Чтобы в Новом году светлее
эту полночь встречала ты,
чтобы раны твои скорее
полевые укрыли цветы,

чтоб, врачуя тебя, украшая,
тишина снизошла на поля...
...С Новым годом, большая-большая
побеждающая Земля.

Стихи о друге

Вечер. Воеет, веет ветер,
в городе темно.
Ты идешь – тебе не светит
ни одно окно.
Слева – вьюга, справа – вьюга,
вьюга в высоте...
Не пройди же мимо друга
в этой темноте.
Если слышишь – кто-то шарит,
сбился вдруг с пути, –
не жалея, включи фонарик,
встань и посвети.
Если можешь, даже руку
протяни ему.
Помоги в дороге другу,
другу своему,
и скажи: «Спокойной ночи,
доброй ночи вам...»
Это правильные очень,
нужные слова.
Ведь еще в любой квартире
может лечь снаряд,
и бушует горе в мире
третий год подряд.
Ночь и ветер, веет вьюга,
смерть стоит кругом.
Не пройди же мимо друга,
не забудь о нем...

Желание

Я давно живу с такой надеждой:
вот вернется город Пушкин к нам –
я пешком пойду к нему, как прежде
пилигримы шли к святым местам.

Не забытый мною, дальний-дальний,
как бы сквозь войну, обратный путь.
Путь на Пушкин, выжженный, печальный,
путь к тому, чего нельзя вернуть.

Милый дом с крутой зеленой крышей,
рядом липы круглые стоят.

Дочка здесь жила моя, Ириша,
рыжеватая была, как я.

Все дорожки помню, угол всякий
в пушкинских таинственных садах.
С тем, кто мной доньше не оплакан,
часто приходила я сюда...

Я пешком пойду в далекий Пушкин,
сразу – как узнаю – возвращен.
Я на черной парковой опушке
положу ему земной поклон.

Кланяюсь всему, что здесь любила, –
сердце, не прощай, не позабудь,
кланяюсь всему, что возвратила,
трижды тем – кого нельзя вернуть.

31 декабря 1943

Мы пришли в Пушкин

Час тому назад мы вернулись в Ленинград из Пушкина.

Мы приехали в город через несколько часов после его освобождения и были едва ли не первыми «гражданскими» ленинградцами в Пушкине. Нас ездило семь человек на «репортажке» Ленинградского радиокомитета – четверо сотрудников радиокомитета, артист Ю. Калганов, пушкинист В. Мануйлов и я. Машину вел главный инженер радиокомитета Свиридов, вызвавшись заменить шофера, потому что уже с вечера двадцать четвертого января, сразу после Приказа, «репортажку» осаждали десятки людей, жаждущих попасть в Пушкин. Нам завидовали отчаянно, и мы понимали это: для ленинградцев нет места, любимого более нежно, чем Пушкин. У редкого ленинградца не связано с этим зеленым, уютным, милым городком самых светлых личных воспоминаний. Странно сейчас говорить об этом, но мы приезжали сюда только затем, чтобы любоваться всей этой гармонической, неповторимой красотой царственных дубрав и чертогов, всем, что было здесь в течение веков трудолюбиво и любовно создано для человеческой радости, для наслаждения... И все это было неразрывно и прекрасно слито со светозарной поэзией Пушкина, с вечной его юностью...

Мы выехали на рассвете, опасаясь, что придется подолгу стоять на дороге. Но наши войска ушли уже за ночь далеко вперед, дорога была свободна. Наша машина на возможной скорости шла по Московскому шоссе мимо циклопических баррикад, мимо огромных бетонных надолб и железных ежей, мимо глубоких противотанковых рвов и траншей, вырытых нами осенью сорок первого года. Еще всего шесть дней назад это были ближние подступы к Ленинграду, фронт, а сегодня уже были сняты военные заставы вплоть до Пулкова: фронт отодвинулся от Московской заставы, от города. И город, первым в Европе остановивший немцев у самых своих стен, с каждым часом отбрасывал их все дальше и дальше с неумолимой силой до отказа сдавленной и теперь отпущенной пружины.

От самых Пулковских высот земля носила следы только что отгремевшего боя: несмотря на январь месяц, земля была бесснежна, вся вывернута, вся взорвана, взрыта и не похожа ни на что: ни на пашню, по которой прошелся исполинский пахарь с исполинским плугом, ни на разрытую землю для грандиозного строительства – ни на что не похожа, кроме поля боя. Да, это здесь, в этой земле, вцепившись, впившись в нее, как кровососы, два с

половиной года сидели немцы. Их надо было вырвать отсюда вместе с землей, поднять вместе с землей, иначе они не ушли бы. Да, это сюда, на эту землю возле Пушкина, обрушился тот незабываемый, долгий, многочасовой гром, который мы слышали в городе утром пятнадцатого января, и, переглянувшись, передохнув, сказали друг другу: «Началось!»

Чем ближе подъезжали мы к Пушкину, тем чаще попадались разбитые в щепу немецкие землянки, дзоты, перепаханные траншеи, опрокинутые козлы с колючей проволокой, разметанные части орудий. Потом пошли срезанные, обугленные, расщепленные деревья, остовы каменных зданий, фундаменты взорванных домов... Темная масса деревьев неслась на нас с конца дороги – и вдруг мы остановились перед монументальными колоннами ворот: мы были в Пушкине! Мы стояли перед Орловскими воротами.

Они целы. Они такие же, как *тогда*, до войны. Возле них «Руина» – увы, даже и она сильно покалечена, но мы сразу узнали ее. Мы медленно ехали вдоль парка в центр города и, жадно глядя в окно, узнавали всё, всё узнавали – ведь это же был наш, наш Пушкин, который невозможно было разлюбить или позабыть, который остался в сознании как обитель радости, красоты и света.

Мы узнавали всё. Вот Турецкая баня – стена ее зияет пробоиной, она вся ободрана, вся в каких-то грязных пятнах, но башенка цела, и баню можно узнать. Чесменская колонна стоит посреди застывшего озера, покрытого налетом золы и гари. Арсенал цел, только у одной башенки обвалились зубцы. Вон сквозь ветки парка видна Камеронова галерея – господи, неужели же сейчас мы войдем под ее своды? Конечно, войдем: мы в Пушкине, в нашем Пушкине, ничего не забыто нами – он снова наш.

Но ни одного человека не попалось нам навстречу, пока мы очень медленно подъезжали к воротам «Любезным моим сослуживцам». Здесь машине пришлось остановиться – оба моста через речку взорваны немцами. Цепляясь за обвалившуюся землю и камни, мы перебрались на ту сторону и увидели в конце улицы купола дворцовой церкви и арку Лицея.

...Я не могу назвать чувство, охватившее меня с момента вступления на пушкинскую землю, даже радостью. Это чувство было сложнее, щедрее, массивнее, чем радость, и совсем непохожее на нее. В нем смешивалась не испытанная еще, распирающая, какая-то озлобленная гордость и пронзающая душу боль.

А больно было оттого, что Пушкин лежал в развалинах и ни одного человека, ни одного не встретили мы на своем пути. Немцы не оставили в Пушкине русских людей. Кого замучили и убили, кто умер от голода, кого угнали в Германию. Никому из пушкинцев не пришлось дожидаться дня освобождения в своем городе. Неживая тишина и полное, трагическое, угрюмое безлюдье царили на улицах, среди обугленных, полувзорванных или сожженных домов и молчаливых черных парков. О, хоть бы один человек, хоть бы старуха какая-нибудь выползла из подвала и попалась навстречу – потому что нестерпимо хотелось встретить здесь долгожданного, родного, своего, обнять его, поплакать вместе с ним слезами радости, погоревать над разорением, среди которого произошла наша встреча, и, улыбнувшись, сказать друг другу: «Ничего. Обстроимся, наладимся. Главное – вместе, на своей земле».

Но никого, никого не встретили мы, двигаясь к Лицею, ни одного живого существа.

Видимо, все находившиеся в городе – несколько патрулей, несколько саперов – ощущали это давящее безлюдье, невыносимое для общительной души русского человека, да еще охваченного радостью победы. И удивительно ласково, бережно как-то обращались немногие пришедшие в город люди друг с другом: встретясь, тотчас же вступали в дружеский разговор, предупреждали о минной опасности, улыбались друг другу: о да, необходимо было человеческое тепло, рукопожатие, речь – среди этих горьких развалин, на вновь обретенной своей земле. Что она – без человека?

У Екатерининского дворца встретил нас патруль; начальник козырнул, представился, любовно поглядел на наше гражданское платье.

– Из Ленинграда? Разрешите, пожалуйста, командировочки.

Мы охотно представились, каждый назвал себя по профессии и по имени, – сказали, что вот только что приехали в Пушкин.

– А мы уже со вчерашнего дня тут, – улыбнулся начальник патруля и, помолчав, добавил: – Вошли – и ни одного гражданского, ни одного... А вы, дорогие товарищи, осторожно тут ходите, только по тропочкам, только по нашим следочкам – тут повсюду заминировано. Опасно.

Мы шли по чьей-то бесстрашной тропочке вдоль Екатерининского дворца (со стороны парка, по чьим-то широким следам – несомненно, следам русских валенок, – подошли к главному его подъезду, остановились. Жгучая обида рванула сердце: я вспомнила вдруг, как *тогда*, до войны, мы, хозяйева, входили в этот дворец, надев войлочные туфли... Мы боялись царапинку на полу оставить, мы лелеяли его... Товарищи, наш чудесный дворец разбит, разрушен! Чужеземцы, пришельцы, захватчики осквернили и разорили его. Только стены остались от него, а внутри все обвалилось, сквозь дыры окон видны кирпичи, скрученные балки, разбитые камни. Почти ничего не уцелело внутри дворца. Из дверей большой анфилады с их неповторимой позолоченной резьбой немцы устраивали потолки в своих землянках, настилали их вместо пола. Мы видели это сами. В одной из комнат дворцового подвала, где жила испанская «Голубая дивизия», мы видели обломки драгоценной резьбы. Видимо, здесь жил какой-то «любитель изящного». Сюда было затащено пианино, а на крышке пианино лежал срубленный с карниза золотой купидон.

Здесь же, во дворце, куда мы входили с таким благоговением и радостью, в комнатах нижнего этажа были устроены отхожие места для солдат и стойла для лошадей – мы видели в конюшнях свежее сено и конский навоз; лошадей угнали отсюда только вчера.

Враг уходил из Пушкина, трясаясь от страха и отчаянно спеша, и все же успел разбить прикладами зеркала, растоптать старинные статуэтки, изрубить все, что было еще цело в церкви. Больше того – даже уцелевшие стены дворца, которые гордо и вызывающе, несмотря ни на что, хранят изящный свой и величественный контур, даже стены эти решили уничтожить бегущие немцы. Они нашли время для того, чтобы в наиболее сохранившуюся часть дворца затащить огромные авиационные бомбы замедленного действия и минами всех образцов набить все углы дворца. Врага выбросили отсюда, но гнусное его дыхание еще змеится по всем углам, смерть оставлена им здесь – невидимая, бессмысленная, подстерегающая на каждом шагу.

Мы узнали об этом от сапера, которого встретили уже возле Камероновой галереи.

– Вы... вы дворец осматривали? – почти весело и очень удивленно воскликнул он. – Да он же заминирован весь! Нет, уж вы поосторожнее...

Но тотчас же, указывая на Камеронову галерею, прибавил:

– А вот в этом дворце целых четыре штуки заложил. Здоровые! Пойдемте покажу... Наши их там сейчас обезвреживают. Вам интересно будет... Пойдемте, пойдемте!

Надо признаться, что мы отправились наблюдать обезвреживание трехтонных бомб без особого восторга, но... положение бесстрашных ленинградцев обязывало!

Я рада сказать, что Камеронова галерея хорошо сохранилась, хотя сильно изранена; в галерее нет ни одного бюста, а могучие статуи Геркулеса и Флоры украдены немцами. Но галерея все та же – легкая и строгая, полная воздуха и света.

У самой лестницы стоял грузовик, и несколько возбужденных, очень довольных саперов уже грузили на него трофейные бочки с бензином. Худощавый, высокий, весь закопченный военный немедленно и дружелюбно представился нам.

– Старший лейтенант Сальников, – сказал он, козыряя. – А вы – комиссия?

Мы опять поспешно и обрадованно назвали себя, сказали, кто мы и зачем здесь, и особое внимание обратили на В. А. Мануйлова как знатока города. Услышав это, старший лейтенант Сальников схватил с земли тонкие зеленые и красные провода и стремительно сунул их чуть не в самое лицо Мануйлову...

– Вот, – торжественно закричал он, – только что перерезали! Это шло к авиабомбам

замедленного действия. Мы их сию минуту обезвредили. Буквально одну минуту назад! Все четыре. Можете убедиться.

Он подвел нас ко всем четырем бомбам по очереди – громадным, трехтонным бомбам, собственно говоря – торпедам, опутанным зелеными и красными проводами, как какими-то мерзкими червями.

– О, тут бы все в прах превратилось, если б они взорвались, – говорил Сальников. – Тут был расчет на одно лишь неосторожное движение – и все бы на воздух... И просто смешно, что это могло случиться буквально минуту назад!.. Но вы теперь не волнуйтесь, товарищ профессор, – обратился он к Мануйлову, – и вы, товарищ артист, и вы, товарищ писатель, тоже: этот дворец спасен. Ну, и мы заодно... И мы его опять отделаем по-прежнему... До войны я был инженером-строителем. Я вам ручаюсь, что это можно восстановить в прежней красоте. Верьте слову строителя... А теперь прощайте, мы едем вслед за нашими частями, нам надо поспеть в Гатчину... Вот в Павловске немцу удалось поджечь и взорвать дворец, и сейчас он горит, но здесь все, что уцелело, будет спасено, как эта галерея. Верьте слову строителя и сапера. До свиданья, товарищи, не волнуйтесь и ходите только по тропинкам. Только по тропинкам!..

Они шумно погрузились в грузовик, мы пожали им руки, и они помчались вслед за своей частью, уже дерущейся в это время на окраинах Гатчины, а мы пошли дальше, по городу.

Возле полуразрушенного домика Китаевой нам вновь встретился патруль, и вдруг В. А. Мануйлов не удержался и начал рассказывать им и нам о домике, около которого мы стояли. Он говорил минут двадцать – двадцать пять, почти целых академических полчаса; солдаты слушали жадно и внимательно и все с большим уважением поглядывали на разбитый деревянный домик, около которого торчали дощечки с надписями: «Минен, минен!» И вокруг было очень тихо, совершенно безлюдно и очень грустно... «Спасибо, товарищ профессор, – сказал патруль, когда Мануйлов кончил краткую свою лекцию, – теперь будем знать, какой это знаменитый домик...»

В Лицее нет ни одной рамы, но Лицей все же цел, и лицейская церковь цела – и это просто удивительно! Мемориальные доски на Лицее на месте, и даже дощечка с надписью на русском языке, дощечка, висящая у Лицея еще с мирного времени: «Автобус №3, Пушкин – Ленинград» – непостижимым образом осталась цела. Она скоро опять пригодится нам – ведь путь от Пушкина до Ленинграда вновь свободен! Но в ограде – пустой гранитный постамент: статуи юноши Пушкина, мечтавшего на скамье десятки лет, – нет. Постамент пуст и похож на надгробье.

А на воротах, ведущих во двор Екатерининского дворца, на фанере натрафареченная надпись на немецком и русском языках: «Стой. Запретная зона. За нахождение в зоне – расстрел. Комендант города Пушкин».

И у ворот Александровского парка – две фанерные дощечки, тоже на русском и немецком языках. На одной надпись: «Вход в парк строго воспрещен. За нарушение – расстрел». На другой: «Гражданским лицам даже в сопровождении немецких солдат вход воспрещен». (Я привожу надпись со всеми особенностями орфографии.) Мы сняли эти доски и взяли с собой. Потом мы вошли в наш парк, за вход в который еще вчера русскому человеку грозил расстрел.

Александровский дворец сохранился лучше, чем Екатерининский, хотя правое его крыло внутри совсем обрушилось и правый подъезд, у колоннады, совершенно уничтожен. Статуя играющего в свайку – «юноша, полный красоты, напряженья, усилия чуждый», – сохранилась. Юноша, играющий в бабки, валяется в снегу около своего постамента, и его рука, та самая, которой он «о колено бодро оперся», – искалечена.

А перед колоннадой дворца немцы водрузили довольно высокий гранитный постамент. На нем сверху – огромная свастика. На цоколе – изображение железного креста. Перед постаментом, между израненной колоннадой, ровные ряды тесно стоящих березовых крестов. Их около сотни. На каждом – дощечка с изображением железного креста и именем,

званием и т. д. похороненного. Здесь похоронены немцы, убитые в сорок первом году. Это кладбище. Кладбищ в парках несколько.

А Китайский театр сожжен дотла... Белая башня неисправимо повреждена. В городе нет ни одного дома, пригодного для жилья. Обугленные, искалеченные, изломанные деревья похожи на раненых солдат... Ходишь по городу, и не верится: неужели здесь когда-нибудь смогут жить люди?

Но люди придут сюда, скоро придут. Ведь мы были в Пушкине всего через несколько часов после его освобождения. И ведь самое главное: он взят нами, возвращен, он опять наш. И я не променяю эти милые сердцу развалины ни на один самый цветущий уголок в других странах света. И старший лейтенант Сальников прав: мы восстановим его в прежней красоте – она бессмертна, потому что она в нас, в нашей воле. Это кажется сейчас пустыми словами, может быть – официальным заклинанием, – потому что, конечно, это будет чудо, если все восстановить, как раньше. Но осенью сорок первого года мы говорили: «Враг найдет под Ленинградом свою могилу», и это тоже тогда казалось чудом, но ведь сбылось же оно? И если свершилось чудо полной ленинградской победы, свершится и чудо возрождения – возрождения всего, что захватчики превратили в развалины, пустыню и прах...

Вошли – и сердце дрогнуло... Жестоко
зияла смерть, безлюдье, пустота...
Где лебеди? Где музы? Где потоки?
С младенчества родная красота?

Где наши люди – наши садоводы,
лелеявшие мирные сады,
где их благословенные труды
на счастье человека и природы?

И где мы сами – прежние, простые,
доверчиво глядевшие на свет?
Как страшно здесь... Печальней и пустынной
селения, наверно, в мире нет.

...И вдруг в душе, в ее немых глубинах,
опять звучит надменно и светло:
«Все те же мы: нам целый мир чужбина,
Отечество нам Царское Село»...

25 января 1944

В Ленинграде тихо

В Ленинграде тихо. Это так удивительно, так хорошо, что минутами не верится даже... А когда подумаешь, что это не та коварная, зловещая тишина, которая устанавливалась между обстрелами и не радовала, а томила, то хочется смеяться и плакать от радости и обязательно сделать что-нибудь очень хорошее:

Ведь так недавно, в ночь на 23 января, на улицы города еще ложились снаряды. Вслушавшись, мы определили: огонь ведет одно орудие; оно било с продолжительными интервалами в двенадцать – пятнадцать минут, било в один и тот же квадрат и, конечно, тяжелыми снарядами. По ночам гитлеровцы вообще употребляли только тяжелые фугасные: люди спали за толстыми стенами своих домов; для того чтобы убить их, надо было вломиться к ним в дом. Почти до утра слышны были через каждые четверть часа тяжкие взрывы и скрежещущий шум обвала. И слышать это было особенно больно: ведь уже были

взяты нашими войсками Красное Село, Ропша, Стрельна, Урицк, Дудергоф – места, откуда враг особенно интенсивно обстреливал Ленинград, и мы знали – наши войска идут дальше, они ведут бои уже под Пушкином и Гатчиной! Мы знали – врага громят, гонят, считанные минуты остались для него под Ленинградом, но еще где-то во мраке ночи стояла его последняя пушка, достающая до центра города, и какие-то завтрашние мертвецы злобно, тупо, торопливо пытаются навредить побеждающему городу и вырвать у него еще несколько жертв.

Немецкое орудие било по Ленинграду еще в ночь с 22 на 23 января, а утром 25 января мы с несколькими товарищами из радиокомитета вели радиорепортаж из города Пушкина – вблизи той самой площади, на которой это последнее орудие стояло.

В Ленинграде тихо. По солнечной стороне Невского, «наиболее опасной стороне», гуляют детишки. Дети в нашем городе могут теперь спокойно гулять по солнечной стороне! И можно спокойно жить в комнатах, выходящих на солнечную сторону. И даже можно спокойно, крепко спать ночью, зная, что тебя не убьют, и проснуться на тихой-тихой заре живым и здоровым.

...Мы испытываем необычайное, ни с чем не сравнимое чувство возвращения к нормальной человеческой жизни. Каждая мелочь этого возвращения радует и окрыляет нас, каждая говорит о победе.

Трамвайные остановки, перенесенные из-за обстрелов, возвращены на старые места. Как будто бы мелочь, но ведь это значит, что сюда, на эту пристрелянную остановку, никогда не упадет больше смертоносный снаряд, это значит – нет под Ленинградом врага, нет блокады! Я слышала, как на углу Невского и Садовой один пожилой мужчина с упреком сказал двум гражданкам, бранившимся при посадке в тройку:

– Гражданочки, гражданочки! Что вы? На старой остановке в трамвай садитесь, а ругаетесь. Стыдно!

Мы еще недавно пробирались в кинотеатр «Октябрь» (тот, что на солнечной стороне Невского) откуда-то сбоку, по темным дворовым закоулкам, похожим на траншеи, а теперь гордо входим в него с парадного входа, с Невского. А на афишах наших театров появилась новая строчка: «Верхнее платье снимать обязательно!» Как это великолепно, что в театрах можно раздеваться. Это значит, что обстрела не будет, что зрителям и артистам не придется спешно рассредоточиваться, прервав спектакль. Хорошо!

Быть может, только теперь, когда в городе стало тихо, начинаем мы понимать, какой жизнью жили мы все эти тридцать месяцев... Но с особенной силой предстал перед нами самими весь наш путь в день 27 января, незабываемый день ленинградского салюта.

Это был пятый день торжествующей, полной, непривычной тишины в городе.

Смутный и радостный слух носился среди горожан: «Говорят, сегодня вечером и мы будем салютовать». А на Невском и Литейном девушки из команд ПВО весь день разбирали безобразные ящики с землей, закрывающие витрины, на которых уже успели вырасти за эти годы трава и лебеда, похожая на деревья. К восьми часам вечера все, кто мог, вышли на улицу. Как только голос диктора объявил: «Слушайте важное сообщение из Ленинграда», у репродукторов столпились люди. Нетерпеливо спрашивали друг у друга, сколько минут осталось ждать, говорили вполголоса, жадно прислушиваясь к рупорам. А когда диктор, отчеканивая каждое слово, начал читать приказ, некоторые догадливые вагоновожатые остановили трамваи, и пассажиры высыпали на улицу слушать. Слушали в благоговейном молчании, и около нашего репродуктора, где я стояла, никто не зашумел и не закричал, когда кончилось чтение, только женщина одна крикнула: «Ура, товарищи!..» Она крикнула это голосом, сдавленным от волнения и счастья. И тотчас же грянули все триста двадцать четыре орудия, и тотчас же в мглистое январское небо взвились тысячи разноцветных ракет, и вдруг Ленинград весь как бы взмыл из мрака и весь предстал перед нами!

Первый раз за долгие два с половиной года мы увидели свой город вечером! Мы увидели его ослепительным, озаренным вплоть до последней трещины на стенах, весь в пробоинах, весь в слепых, зафанеренных окнах, – наш израненный, грозный, великолепный

Ленинград, – мы увидели, что он все так же прекрасен, несмотря ни на какие раны, и мы налюбоваться им не могли, нашим красавцем, одновременно суровым и трогательным в праздничных голубых, розовых, зеленых и белых огнях, в орудийном громе, и чувствовали, что нет нам ничего дороже этого города, где столько муки пришлось принять и испытать. Незнакомые люди обнимали друг друга, и у всех в глазах светились слезы.

Я запомнила старуху в плюшевой шубе, которая теребила за рукав то одного, то другого соседа и ревниво спрашивала:

– Ну, а на Большой-то Земле все это слышат? В России-то, на Большой Земле, слышно им сейчас?

– Слышно, мамаша! – прокричал сквозь грохот салюта один парень. – Слышно... Только ты учти, что мы теперь сами – Большая Земля.

О, мы знали, на Большой Земле слышат и радуются так же, как горевали вместе с нами в дни наших бедствий.

А одна девушка, возле которой остановился незнакомый ей военный, плача трясла ему руку и восклицала:

– Спасибо! Спасибо вам, спасибо!

Он ответил негромко и строго:

– Вам спасибо. Населению...

С чувством великой благодарности говорят ленинградцы о своих армиях, которые сейчас уже далеко от Ленинграда. Наверное, нет ни одного города в Советском Союзе, где бы так сроднились население и армия. Ведь два с половиной года наши армии, непоколебимо держа оборону, находились вместе с нами и вместе с нами переносили все мучения блокады.

Многие, многие ленинградцы помнят, как в страшную первую блокадную зиму сотни солдат и матросов делились скудным своим пайком то с голодными детишками, то с изнемогающими женщинами. Мы знаем, как приходилось нашим армиям держать оборону, рвать в январе 1943 года блокаду. Мы знаем, чего стоила им теперешняя победа, – она досталась ценой благородной крови наших воинов...

И вот сразу же, как только стали прибывать в Ленинград первые раненые, в госпитали явились тысячи ленинградских работниц и домохозяйек – ухаживать за победителями. Они приходили в госпитали после дня тяжелой работы, оставив свои дома и семьи, и не было сестер и сиделок нежнее и заботливее, чем они. И каждая из них приходила с какими-нибудь гостинцами. Одна несла полотенце, другая – наволочку или салфетку, третья – чашку или мыльницу, – кто что мог, но все несли просто, от сердца. И не лишнее из дома несли, а все необходимое самим, но ничего не было жаль для тех, кто освободил Ленинград от кошмара блокады.

А армии Ленинградского фронта уходят от Ленинграда все дальше и дальше, гоня и уничтожая врага. И нет у бойцов и офицеров ленинградских войск большей радости, чем сознание, что наконец-то город вздохнул полной грудью.

Первый вопрос, который задают человеку, приехавшему на передовые из Ленинграда, такой:

– Ну как там наши ленинградцы? Радуются, а?

– Конечно, радуются!

– Нет, уж вы подробненько, подробненько – *как* они радуются? Уж вы все точно расскажите!

И десятки раз заставляют рассказывать одно и то же – о том, что трамваи останавливаются на старых местах, что с домов стирают надписи: «Граждане, эта сторона при артобстреле наиболее опасна». И требуют мельчайших подробностей ленинградского салюта, и счастливо смеются от радости: «Свободен Ленинград!»

А немецкие солдаты? Почти каждый из них, захваченный в плен, прежде всего кричал:

– Я не стрелял по Ленинграду!

В Дудергофе, при захвате одного орудийного расчета, командир расчета, немецкий капитан, плененный нашими бойцами, неистово вопил:

– Нет, нет! Прежде чем вы меня куда-нибудь поведете, я требую акта!

– Какого акта?

– Я требую заактировать, что орудия, при которых я нахожусь, не могли бить по Ленинграду! Позовите вашего офицера! Пусть он засвидетельствует, что я не мог вести огонь по Ленинграду!

А в Красном Селе пленные пехотинцы, трясясь от страха, клялись, что они «всегда были против обстрелов Ленинграда»:

– Мы даже ссорились с нашими артиллеристами. Мы умоляли их не бить по Ленинграду...

Странный для фрицев гуманизм! В чем же дело?

Они рассказывают дальше:

– Ах, мы так просили их не стрелять по городу! Во-первых, каждый раз на наш огонь отвечали ленинградские батареи, и у нас было много жертв... Кроме того, наши артиллеристы очень часто били по городу просто так: пьянствуют ночью, пьянствуют, потом офицеры говорят: «А ну, пойдем поднимем ленинградских девочек...» И начинали обстрел из тяжелых орудий. О, мы умоляли их! Мы говорили: «Ленинград нам этого не простит...»

Вот в этом они не ошиблись: не простит им этого Ленинград...

...Передо мною немецкий солдатский календарь на 1944 год. Он имеет форму блокнота довольно большого формата. На обложке – карта Ленинградской области, где все названия на немецком языке. Карта изображена как бы водяными знаками. Посредине карты – картинка: силуэты Исаакия, Петропавловского собора, и рядом с ними – фигура немецкого солдата в каске и с автоматом. Над солдатом в белом волнистом квадрате, похожем на пузырь, – стихи. Вот их смысл:

«О чем может мечтать солдат у Волхова и под Ленинградом? В болоте, в более чем завшивевшей землянке?.. Он думает о родине, мечтает о том, что когда-то было, и знает... что все равно придет победоносный Новый год...»

Это, так сказать, общая программа. Дальше она конкретизируется. Вот, например, январь 1944 года.

О чем было предложено мечтать немецкому солдату в течение января? Картинка над табелем говорит об этом: лежит немецкий солдат в замерзшем болоте, а над головой у него – в пузыре – «мечта»: Нарвские ворота в Ленинграде, и под ними бодро марширует колонна гитлеровских солдат – они с триумфом вступают в Ленинград.

Но вот уж поистине «все врут календари», а особенно немецкие. В январе 1944 года немцы, правда, проходили мимо Нарвских ворот, но только под конвоем, в качестве пленных.

Календарь, кроме того, врал в самом главном: не было вовсе в январе 1944 года у немцев, сидевших под Ленинградом, такой мечты – войти в Ленинград победителями. Эту «мечту» навязывала им тупая их пропаганда, а из показаний пленных выясняется совсем другое: чем дольше длилась осада, тем больше и больше боялись они осажденного города. Их страх возрастал с каждым месяцем осады, с каждой новой победой наших войск вдали от Ленинграда. Они чуяли: Ленинград осажден, но он и вся страна – неразрывны. Они чуяли: мера ленинградского возмездия с каждым месяцем нарастает. И они уже беспокойно ерзали в своих «более чем завшивевших землянках». «Ленинград нам не простит», – бормотали они. Им мерещились не Нарвские ворота, а совсем другое. Пленные показывают: «Мы боялись, что здесь нам предстоит второй Сталинград...»

Легендарная стойкость города, обреченного Гитлером на «самопожирание», невозможность никакими силами отрезать этот город от всей страны – все это подточило дух гитлеровских армий, сидевших под Ленинградом, и, конечно, дало себя знать при нашем наступлении.

Когда я думаю об этом, мне вспоминается одна фраза из письма рабочих Кировского завода, с которым они обратились ко всем ленинградцам в сентябре сорок первого года. Они писали: «Скорее смерть испугается нас, чем мы смерти...»

В сентябре сорок первого года, когда немцы, взяв Стрельну, рвались уже к самому «Красному путиловцу», эта фраза звучала как торжественная клятва. Но теперь ясно, что она была пророчеством: Ленинград не испугался смерти. И смерть испугалась Ленинграда!

3 февраля 1944

Ленинград – Севастополь

ДОРОГА. И вот – Ленинград позади.

«Красная стрела», нарядная, свежая, уже миновала черно-багровые остовы Ижорского завода, прошла мимо срезанных, расщепленных и обугленных стволов, которые были когда-то лесом, где уместна была бы надпись: «Здесь была природа». Осталась позади и вся изъязвленная воронками, молчаливо угрюмая, обожженная земля, которую люди называют ничейной. Она действительно ничья: ни зверья, ни людская, ни птичья – просто ничья. Мы едем теперь мимо сотен развороченных земляных нор, мимо взорванных блиндажей, раздробленных бревен и раскрошенного бетона – мимо всего, что только полгода назад было вражеским кольцом, блокадой...

Так вот оно какое, немецкое кольцо, душившее нас два с половиной года! Мы называли его «железным», – оказывается, оно земляное, значит, страшнее железного, потому что крепче и неподвижней земли нет ничего на свете.

Странное чувство охватывает вас, когда вы смотрите на сотни этих земляных нор, составляющих целые поселки, на зияющие черные ходы, уводящие далеко и глубоко под землю: веет на вас от всего этого чем-то пещерным, доисторическим, мрачно-одичалым, точно нет и не было на свете многоэтажных, стройных, красивых городов, точно кончилась здесь вся человеческая цивилизация... Да, да, именно дикари, пещерные люди, темная орда с воем и скрежетом пришла сюда из какой-то дикой страшной страны, врылась, вкопалась, вгрызлась в землю и решила уничтожить прекрасный, наш умный и светлый город.

Отсюда, из этих подземных нор, двинулись на Ленинград великая тьма, средневековый мор и доисторический ледниковый холод; отсюда двуногие пещерные существа охотились за нами, за людьми, живущими в городе, стреляли в нас из своих орудий, предназначенных для человекоубийства и уничтожения цивилизации, а значит – тоже как бы пещерных. Проезжая, мы видели огромные расщепленные стволы пушек с готической надписью: «Берта». Мы видели проложенную полукругом железнодорожную колею и на ней – уже ржавый, разбитый бронетранспортер с батареей... Мы вспомнили первые снаряды в центре города, на Глазовой и Ивановской улицах в сентябре сорок первого года: они не столько испугали, сколько изумили горожан; никто не хотел верить, что немец уже так близко, на расстоянии пушечного выстрела. Некоторые говорили, что это просто один какой-то поезд, который «подскакивает» к Ленинграду, другие не верили даже в этот поезд... Но такой «поезд» действительно был. Вот он целых девятьсот дней раскатывал по этому огромному полукругу и при каждом повороте колес «подскакивал» то к одному, то к другому дому Ленинграда – с огнем, горем и смертью. Он и сейчас, разбитый, стоит со стволом пушки, вытянутым по направлению к Ленинграду. Могучая, светлая человеческая ярость была обрушена полгода назад на эти пещерные постройки, на эту свирепую человекоубийственную технику, на все это страшное, мертвенное кольцо, отрезавшее нас от России. Оно превращено в прах, в воспоминание. Впереди – свободный путь на Москву, на Харьков, Симферополь, Севастополь. Впереди – Большая Земля.

Как мы тосковали о ней в дни осады, каким прекрасным видением вставала она перед нами, грея и поддерживая душу...

И вот она разворачивается наяву – большая-большая земля, Россия, родина; она опять вся наша, и можно мчаться из свободного Ленинграда в свободный Севастополь и молча глядеть, глядеть, глядеть на нее, как глядят в лицо любимого человека после очень долгой и опасной разлуки...

Уже осень в России – золотая, тихая, левитановская осень. Неизбежно родным, милым с детства веет от рыжих опушек, от голубоватых мягких холмов, от печально желтых пажитей, от всего пустынного простора страны. Она полна какого-то особого, важного, мудрого и задумчивого покоя... да, это не только извечная русская осенняя тишина, это еще тишина после боя. Следы боев – всюду: на тишайших левитановских опушках – черно-ржавые остовы сгоревших батарей; над синей водой рек – обвалы взорванных мостов; на нежно-зеленой озими – обугленные скелеты танков. Подъезжаешь к нагим торчащим печам и трубам, к зубцам стен, к огромной гряде камней, а на них дощечки с надписями: «Курск», «Орел», «Харьков», «Белгород»... И так на всем пути от Ленинграда до самого Севастополя – по всей тихой осенней России...

Но среди развалин станций, на расчищенных площадках под брезентом лежат холмы смуглого зерна, огромные кучи бураков и ярко-желтые кочны кукурузы – это урожай нынешнего года, собранный на освобожденной земле. На каждой станции, как муравьи, копошатся люди в ватниках и лаптях, и на каждой хоть что-нибудь уже восстановлено: склад, барак или просто будка. И перед каждым свеженьким, восстановленным зданием обязательно сооружена клумба, и вместо цветов на ней аккуратно камешками выложена надпись: «Смерть фашизму». И буквально везде, на всех станционных развалинах, на камнях городов и поселков, размашисто и крупно начертано:

«Да здравствует наша прекрасная Родина!»

...Вообще различных надписей на стенах городов, на станциях, на развалинах – неисчислимо множество. Мы удивились, мы думали, что это только у нас в Ленинграде пишут все самое нужное прямо на стенах, – оказывается, так делают везде. Надписи эти, конечно, есть, некое новое средство общения между людскими массами, движущимися по российским путям. Газеты не могут догнать их, радио есть не везде – надписи на развалинах городов заменяют газеты и радио. Камни к тому же хранят слово и крепко и долго, значит, множество людей узнает его. Здесь вы увидите призывы стремительных дней наступления: «Вперед за полное освобождение Крыма», «Клянемся отомстить захватчикам Кубани»... Рядом с ними прочтете обеты граждан, вернувшихся на родные пепелища: «Клянемся, что восстановим родной освобожденный Орел», «Все силы – возрождению Родины». Здесь строки, прославляющие имена победителей, здесь краткая и страстная информация – «Крым свободен», «Севастополь снова наш».

А в пустой, взорванной немцами Евпатории, где шагам идущего гулко отзывается эхо, где по вечерам ходят с факелами, как в древнем Риме, – там, в номерах гостиницы «Крым», тысячи надписей совсем других и особых.

«Партия старокрымцев 2 февраля 44 года отправляется отсюда в Румынию. Прощай, родная земля...», «Двадцать человек бахчисарайцев едут в Будапешт, а может, и дальше 19/II 44», «Меня, мамочку и тетю угоняют в Австрию. Дорогие товарищи, если увидите папу, передайте! Надя из Симферополя, с улицы Жуковского, 24...» И еще и еще писали новороссийцы, севастопольцы, кубанцы, одесситы – тысячи имен, тысячи торопливых, косых, отчаянных карандашных строк тесно лепятся друг к другу. Здесь, в этой гостинице, был последний этап. Отсюда по морю немцы гнали на чужбину русских людей, и они торопились оставить хоть имя свое, хоть последний возглас горя на последних камнях родной земли.

...На симферопольском базаре слепой гармонист поет длинную и горькую песню о девушке Насте, угнанной на чужбину:

Эту смертельную муку врагу
я ни простить, ни забыть не могу.
Крутится, вертится шар голубой,
Настенька, Настенька, что же с тобой?

Стоят вокруг слепца большим, плотным кольцом женщины, слушают его песню и

плачут: у каждой из них такая же непрощенная мука, такое же горе, как в песне слепого. Они слушают жадно и доверчиво и суют слепому певцу рубли и трешки, а он поет долго и проникновенно и заканчивает свою песню словами:

Крутится, вертится шар голубой,
Настенька, Настенька, встречусь с тобой...

И женщины робко думают: «Что ж, ведь, может быть, и встретимся! Ведь может быть!»

А невдалеке сидит человек с морской свинкой: свинка за пятерку из узкого ящика вытаскивает предсказания «вашего ближайшего будущего» – маленькие сложенные записочки.

Вот женщина в старом беретике, смущенно усмехаясь, развернула записочку. «Ваш друг в скором времени вернется», – написано в «счастье». «Не падайте духом – вам скоро будет счастливое известие», – сказано в другой «Ваше заветное желание скоро исполнится», – написано в третьей. «Имущество ваше непременно в ближайшие дни отыщется», – в четвертой, и т. д., и т. д. Негромкий смех раздается среди жаждущих узнать будущее, когда разворачивается пятая записка: никто, конечно, не верит предсказаниям морской свинки, но всем приятно и немного смешно, что она предсказывает только одно хорошее и обязательно «в скором времени»... Ведь горькие песни слепцов, завершающиеся словами надежды, и наивные, но светлые «предсказания» гадалей так совпадают с огромной всенародной жаждой покоя и счастья, с непоколебимой верой в него. Оно будет – не может не быть: недаром пролито за него столько драгоценной народной крови.

И по-новому, необычно чтят теперь эту кровь люди: они погребают павших освободителей не на городских окраинах, не на отдельных кладбищах, а прямо среди своих домов, в центре освобожденного города...

В Симферополе, в центральном городском сквере, на высоком постаменте стоит танк. Его массивное серое тело пробито и обожжено – это один из первых советских танков, ворвавшихся в Крым весной этого – сорок четвертого – года; он поставлен ныне как памятник над братской могилой героев танкового краснознаменного корпуса.

И в Севастополе десятки могил расположены тоже в центре города, на знаменитом Историческом бульваре, вокруг памятника Тотлебену. Тотлебен виден издали, он четко чернеет на фоне неба, среди развалин; он стоит, воинственно вытянувшийся, с прямыми развернутыми плечами, а над плечами – только узкий кусочек воротника: голова генерала начисто срезана снарядом. А вокруг пьедестала у ног обезглавленной, гордо выпрямившейся фигуры толпятся бронзовые матросы; и у них тоже – у кого оторвана рука, у кого разворочено осколком бедро или разбита голова. Но ни один из них не изменил позы неистового сопротивления: безрукие, с дырами на груди они подносят к пушкам ядра, строят бастионы, сжимают ружья. Смотришь и видишь: да ведь они не бронзовые, они живые, они современники наши, а этот памятник, такой, каков он сейчас, принадлежит не только героям пятьдесят четвертого – пятьдесят пятого годов, но и тем, чьи свежие могилы расположены у его подножия.

И живущих не смущает близость могил, а мертвых не оскорбляют суэта и шум возрождающейся вокруг них жизни – наоборот, великий подвиг освобождения Родины венчается подвигом ее возрождения.

* * *

СЕВАСТОПОЛЬ. В нескольких километрах от Севастополя расположен город Херсонес, по-русски Корсунь. Это город, возникший в глубочайшей древности, город, где крестился в христианскую веру князь Владимир, откуда берет свои истоки русская письменность. Он разрушен набегом татар полтысячи лет тому назад.

Затем, полтысячи лет подряд, остатки города заносила земля, разрушало время, ветры,

зной и холод. И вот все, что было когда-то выстроено человеком, вновь превратилось в природу – в камни. Правда, археологи установили даже расположение улиц, доказали, что вот эти, особым образом сложенные, камни были когда-то монетным двором, а эти – баней, а эти – храмом, но они *были* этим много-много веков назад, а сейчас – только мертвые камни, обломки исчезнувшего мира, музейная ценность.

И вот сегодняшней Севастополь – это не что иное, как крупнейший Херсонес, нео-Херсонес.

– Какое пиршество для очей археолога, – сказал о Севастополе ученый хранитель херсонесского городища и музея А. К. Тахтай, – какое грустное пиршество!..

Да, Севастополь, что по-русски значит «Город славы», представляет собой сплошную колоссальную руину, огромным амфитеатром поднимающуюся над прекрасными голубыми бухтами и заливами. И так же, как в Херсонесе, здания его, развалившиеся, сбросившие штукатурку, лепку, превратились в одичавшие, нагие камни, в природу, – и так же, как в Херсонесе, веет от этих камней многими-многими веками. Ощущение времени минутами исчезает – нет, это не мы, это Эллада, это тысячелетия назад стоял здесь неизвестный прекрасный город, чьи белые развалины высятся сейчас над морем.

Мы видели много развалин. Одни из них вызывают чувство щемящей печали, как, например, развалины Пушкина, другие – чувство страха, даже отвращения, третьи – угнетают до предела. Развалины целого города, Севастополя, застывшие в порыве сопротивления, вызывают чувство гордости. Велик народ, который мог *так* сопротивляться, который ничего не щадил во имя свободы: ни городов своих, ни памятников прошлого своего, ни самого себя. Он не может не победить, если есть у него такие развалины, как Севастополь! Не плачь же над ними, русский человек, – гордись: это ты так дрался за свою землю.

Отсюда, из Севастополя, мы по-новому увидели наш город – Ленинград – и по-новому ощутили кровную связь ленинградского подвига с подвигом всего народа. Мы с особой силой и отрадой убедились в этом родстве, когда ближе узнали многих севастопольцев и жизнь их в дни обороны, в дни оккупации и теперь, в дни начавшегося возрождения.

Севастополь освобожден всего четыре месяца назад, а живет в нем уже больше семидесяти тысяч человек, а рвется в город еще больше народу – и правдами, и неправдами прибывают ежедневно.

Приедут, увидят – ахнут, обнажат голову, постоят минуту в безмолвии, потом с трудом среди камней и завалов отыщут свою улицу, на которой жили десятки лет, по каким-то еле уловимым признакам опознают ее, даже камни бывшего дома своего опознают, поплачут над ними, вздохнут и скажут:

– Ну, слава богу, вернулись!

И не жалеют, что вернулись из края, где жили под крышей... Какую власть имеет над русским человеком родное место!.. А севастопольцы, кроме того, влюблены в свой город так же, как мы, ленинградцы, – в свой. Их не останавливают руины, не пугает тяжелый, странный быт, во многом напоминающий первый год нашей блокады.

В Севастополе, где до войны было больше одиннадцати тысяч жилых домов, ко дню его освобождения не осталось ни одного целого дома, остались только «частично уцелевшие»: пять домов, уцелевших на восемьдесят процентов, сто восемьдесят три дома, уцелевших на пятьдесят процентов (то есть разрушенных «только» наполовину), и на окраинах – всего восемьсот двадцать маленьких частных домиков, тоже... наполовину или больше разрушенных. Идешь по улицам и не понимаешь – как же, где же живут здесь семьдесят тысяч человек?

Но вот перед вами, на уступе, руина пятиэтажного дома, с вырванной серединой, с рухнувшими стенами, без кровли, и вдруг где-то, примерно на третьем этаже этой руины, вы обнаруживаете... два окошка, застекленные светлым стеклом, да еще с тюлевыми белоснежными занавесками. Окна открыты, ветер выносит занавеси из помещения, как пена клубятся они под обгоревшими обломками лестницы, и эхо развалины грубым голосом

вторит веселой песенке, несущейся из этих окон с пластинки патефона... Случайно из всего огромного дома уцелела одна комната, и вот кто-то уже украсил ее, обжил и бесстрашно лазит туда по остаткам лестницы.

Вот здание, от которого остались только подъезд и нависший над ним лестничный пролет. Но к подъезду приделана фанерная дверца, а на ней надпись: «Маникюр здесь». Подъезд превращен в парикмахерскую; прямо на тротуаре, рядом с фанерной дверцей, кипит самовар – в «парикмахерской» так тесно, что самовар там уже не умещается.

Вот удивительно гладкий фундамент, по бокам его – две-три полуобвалившиеся колонны, груда камней сбоку, а к ним прилажена дощечка: «Кино «Красный луч». Кино помещается в подвале, глубоко под развалинами, а расчищенный фундамент по вечерам приспособливается под танцевальную площадку. Да, да, по вечерам здесь танцуют, да еще как: под духовой оркестр, осветив руину прожекторами... Блещут надраенные пуговицы морских кителей, ярко белеют в синем воздухе обломки колонн, лукаво смеются девушки, крысы время от времени деловито шмыгают под ногами танцующих; крыс в городе несметное количество, и людей они пока что совсем не боятся.

Вот еще одна грандиозная «развалка», где уцелел только угол нижнего этажа, но этот угол уже приспособлен под хлебный магазин... Вообще для Севастополя выражение «приспособить здание» пока что гораздо точнее, чем «восстановить». Еще когда-то его, здание, восстановят, а приспособить можно уже сейчас. Но возрождение Севастополя началось с первого дня его освобождения; уже около пяти месяцев люди отвоевывают у развалин шаг за шагом, метр за метром, властно и кропотливо поднимая город из праха, и одичавшие, как бы древние камни вновь обращают в современные жилища, в больницы, в школы. Так, к октябрю у камней было отвоевано уже свыше пятидесяти тысяч квадратных метров площади, пригодной для того, чтобы на ней жил человек. Городу возвращена пресная вода – пущен весь водопровод, так что теперь воды хватает и кораблям, и людям, а ведь при немцах был один колодец на весь город – совсем такой, как в Херсонесе, так же облицованный камнями, такой же формы. У города есть теперь электрическая энергия, есть свет...

И вот, когда ночь опускается на Севастополь, густая южная ночь, – вдруг происходит чудо: в безлунном мраке исчезают развалины, совсем исчезают, и вспыхивают сотни огней. Горят отличительные огни на рейде, на катерах и тральщиках, зеленые и красные огни, дробясь и отражаясь в тихой воде бухты; горят огоньки на Корабельной стороне, на Северной, светятся там и сям по уступам, на идущих вверх улицах города, – мерцают, мигают, искрятся огни везде, где только приспособились жить люди. И перед вами не мертвый, не разрушенный, а живой, довоенный Севастополь, веселый, милый город рыбацек, матросов и путешественников. О да, он жив, он подает голос то склянками, то боцманской дудкой – снизу, с воды, с палубы, то рокотом невидимой в темноте гитары, – он здесь, он весь обозначен огнями. Город Славы, столица Черноморья. Он жив, лежащий в развалинах, подобный древнему Херсонесу, потому что жива его страстная черноморская душа, неистовая в труде и в битве. И как вызов, как клятва звучит размашистая надпись, начертанная на огромном, пересекшем улицу обломке стены:

«Да здравствует наш прекрасный город-герой Севастополь!»

ПРИСЯГА НА ВЕРНОСТЬ. «Клянусь Зевсом, Землею, Солнцем, Девой, богами и богинями Олимпийскими и героями, кои владеют городом... я не предаю ни Херсонеса, ни Керкинитиды, ни Прекрасной гавани, ни прочих укреплений – ничего никому, ни эллину, ни варвару, но буду охранять для народа херсонеситов...»

Так начиналась присяга граждан древнего города Херсонеса – присяга в верности своему городу и его демократии. Более *двух тысяч* лет тому назад она была высечена на мраморной стеле (плите) и установлена в центре цветущего тогда Херсонеса, пятьдесят шесть лет назад она была извлечена из херсонесской археологической целины и вплоть до осени сорок первого года хранилась в херсонесском музее как его гордость, как одна из величайших исторических ценностей всего мира.

«Буду врагом злоумышляющему и предающему Херсонес, или Керкинитиду, или Прекрасную гавань... не открою ни эллину, ни варвару ничего тайного, что может повредить городу; не дам и не приму дара ко вреду города и сограждан... Не вступлю в заговор ни против херсонеситов, ни против кого-либо из сограждан, кто не объявлен врагом народа. Если же я с кем-либо вступил в заговор... да не приносит мне плода ни земля, ни море, женщины да не рожают прекрасных детей...»

Когда началась осада Севастополя, когда до шести тысяч бомб ежедневно стали сбрасывать враги на Севастополь и Прекрасную гавань и окрестности их – мраморная стела с присягой и самые ценнейшие экспонаты были вывезены в глубь страны. Но десятки тысяч других редкостных музейных экспонатов, но сами развалины Херсонеса, но его еще не вся разведанная, таинственная и щедрая археологическая целина оставались здесь, в нескольких километрах от Севастополя. Ученый хранитель музея и старый археолог Александр Кузьмич Тахтай тщательно на большой лист ватманской бумаги переписал текст древнейшей человеческой присяги родному городу, повесил его над столом в своем рабочем кабинетике и один остался в Херсонесе.

– В каждом аду должен быть свой цербер, – рассказывал он нам. – Я остался таким цербером около этих священных камней, повторяя мою присягу: «Ничего никому, ни эллину, ни варвару, но буду сохранять для народа херсонеситов...»

«Клянусь стоять насмерть, – написал своей кровью на клочке газеты с портретом Сталина черноморский моряк лейтенант Калюжный, – клянусь стоять насмерть за родной Севастополь».

Он пришилил этот клочок газеты к обломку стены, который защищал в одиночку; уже все его товарищи были мертвы, и когда к нему подоспела подмога, он тоже был смертельно ранен. Но пришедшие сюда моряки поставили подписи свои вслед за его подписью на том же газетном листе, и тысячи защитников Севастополя подхватили эту клятву и подтвердили ее словом, делом и кровью.

Вот в эти дни группа пожилых женщин, домохозяйек Центрального района, объявила себя бригадой «В помощь фронту». Все женщины знали друг друга давно, они составляли одну депутатскую группу, объединенную вокруг депутатов, которых сами же выбрали в Советы: одну, Марию Павловну Ежову, – в городской Совет, другую, Наталью Тихоновну Тяпкину, – в свой, районный Совет. Наталья Тихоновна и до войны была душой депутатской группы: она была самая подвижная, самая предприимчивая в делах, самая образованная из домохозяйек – бывшая машинистка, «пишбарышня»; она и с виду-то походит именно на машинистку – тоненькая, аккуратненькая, всегда подвита, с подкрашенными губами, с большими, изумительно синими глазами. Муж ее, офицер, с первых дней войны ушел на фронт и не подавал о себе вестей. Наталья Тихоновна жила с семилетней дочкой Людой в маленьком домике на тихой, поднимающейся вверх улице Двадцать Лет РККА, а в домике еще жили: кудлатая собачонка, два кролика, белый и дымчатый, очень пестрый котенок и в клетке на окне – щегол. Вот этот-то домик и стал штабом бригады «В помощь фронту», а Наталья Тихоновна, депутатка райсовета, – ее бригадиром. Она была моложе всех в бригаде, женщины называли ее Наташей, потому что всем им было уже за пятьдесят и больше, у всех были взрослые дети, у некоторых – внуки. В дни севастопольской обороны женщины эти не твердили как собственные высокие слова древней присяги своему городу – они не знали ее; они не писали кровью своей: «клянемся стоять насмерть» – слишком будничной была их работа. Но тем же раскаленным иступлением, тем же духом всеобщей присяги на верность была пронизана вся их работа.

Что же они делали?

Они стирали белье.

Да, белье из севастопольских госпиталей, которое ежедневно привозили к ним на улицу Двадцать Лет РККА целыми грузовиками, и, прежде чем стирать, его надо было отжать от крови. От этого белья мгновенно багровела вода в корытах, и руки прачек становились красными выше локтя, и мыльная пена падала наземь ярко-розовыми хлопьями.

Много крови лилось за Севастополь, много, очень много белья ежедневно нужно было госпиталям, и женщины тяпкинской бригады стирали, сушили, чинили белье круглыми сутками. Они не считались ни с временем, ни с усталостью, оставили все домашние заботы – ведь у всех мужа и сыновья проливали кровь, дрались где-нибудь с немцем. Только Наталья Тихоновна Тяпкина не знала, где ее муж, а Наталья Игораева знала, что сын ее где-то здесь близко – может, на Сапун-горе, может, уже ближе, но повидаться с ним не могла. Она даже завидовала Марии Павловне Ежовой, у которой младший сын Валя был еще школьник, а старший, восемнадцатилетний Петя, не мог служить, потому что страдал тяжелой формой эпилепсии.

Но мальчик он был серьезный, ласковый, старался женщинам помочь, ездил несколько раз на передний край за водой, охотно и старательно выполнял их поручения; они любили и жалели его и про себя называли блаженненьким.

А немец все сатанел и сатанел, все свирепее кидался на город.

Женщины стирали сначала в подвалах и там же пытались сушить белье, но на воле оно сохло быстрее, и они стали стирать во дворах своих домиков, а последнее время часто сходились во дворик Натальи Тяпкиной и стирали здесь. Вместе было не так страшно бомбежек. Уже не было в городе ни капли пресной воды, воду прачкам привозили с переднего края, и они оставляли для питья по стакану в сутки на человека, а остальное все шло на стирку.

Июнь был знойным, душным, дымным, а над городом в синем горячем небе тучей висели немецкие самолеты, и «бомбы сыпались, как семечки, как семечки из мешка», и не одна прачка погибла в те дни возле своего корыта с розовой пеной. Убитых не носили на кладбище – «далеко было, страшно», а хоронили тут же, во дворах их полуразрушенных домиков. Похоронят, постоят минуту в молчании и снова стирают – уже около могилы.

Все кровавее становилось госпитальное белье – живого места не было, все больше белья требовали госпитали... По восемьдесят, по девяносто простынь в день приходилось на каждую женщину. Семидесятивосьмилетняя Ефимия Лобода выстирала за дни штурма более восьми тысяч простыней и пар белья. А семилетняя Людочка Тяпкина собирала в это время посуду для госпиталей, белье и деньги для сирот и во множестве – бутылки. Наполнив горючим, моряки бросали их на вражеские танки. Людочка бомбежки совсем не боялась. Маленькая, тоненькая, со смуглым лицом, с острыми локтями и коленками, похожая на кузнечика, с темными, очень серьезными «отцовскими» глазами, она прыгала через обвалившиеся камни, через воронки, неутомимо обходя район, и не просила, а требовала стаканов, денег, бутылок, белья. Она собрала за дни штурма полторы тысячи бутылок и шестьдесят стаканов для «маленького госпиталя». Этот госпиталь еще зимой был организован той же тяпкинской бригадой, и женщины находили время заботиться еще и о нем!

Госпитали были теперь в Севастополе всюду. Даже в древнем Херсонесе, в коридорах музея, в соборе, прямо в городище были расположены легкораненые и выздоравливающие.

– Я должен признаться, что затрепетал, когда они явились сюда, – сказал Александр Кузьмич, повествуя об этих днях. – Они явились измученные нравственно, воспаленные разрушением и кровью... Я только ходил от одной группы к другой и говорил: «Товарищи, эти камни священны... эти камни священны! Они еще пригодятся вам... Берегите их...» Я старался объяснить, что значат эти камни... Импровизированные лекции мои были неуместны, конечно, но, представьте, бойцы слушали их охотно и с видимым интересом. Я даже присягу мою читал им по вечерам, в минуты затишья, и объяснял им ее, и она доходила до сердец. В часы бомбежек они укрывались в некрополе, в древних могилах, прямо рядом со скелетами. Однажды, когда было особенно тяжело, я услышал, что некоторые выкапывают в крепостной стене пещеры и из обломков колонны византийской базилики складывают укрытие. Я прибежал, увидел, но... но я простил им это! Кругом было столько страдания, что я вдруг понял – преступно дрожать даже за эти камни, все они не стоят одной человеческой жизни. Но бойцы наши не причинили разрушений древнему городу. Напротив

– они помогли мне укрыть глубоко в землю вот этот мозаичный пол греческой бани. Взгляните, какие тонкие, какие живые тона и краски, сколько неги и роскоши в этих нагих женских фигурах... Нет, я жил с ними дружно... В роковой для нас день они вместе с отходящей армией ушли к мысу Херсонес...

Двадцать девятого июня сорок второго года тяпкинская бригада получила новую большую партию белья, выстирала и высушила, приготовила к завтрашнему дню, но завтра, тридцатого июня, сдать уже не смогла: немцы вошли в Севастополь...

Но депутатка Совета, бригадир женской бригады «В помощь фронту» Наталья Тяпкина спрятала белье в подвале своего дома. Женщина знала: наши вернутся, наши будут отбивать Севастополь, будет снова кровь – чистое белье понадобится. И в тот день, когда немцы заняли город, она бережно сложила в подвале белье, только что отстиранное от крови *защитников* Севастополя, приготовленное для крови его *освободителей*.

Через несколько дней немцы повели с Херсонесского мыса партию наших пленных... Среди них не было ни одного не раненого, и у всех из потрескавшихся губ струилась по подбородкам темная соленая кровь: ведь несколько дней, отчаянно сражаясь на кромке крутых херсонесских обрывов, над морской пучиной, они не пили, лишь смачивали губы морской водой.

Слух о том, что «немцы наших ведут с Херсонца», разнесся мгновенно, и немедленно женщины тяпкинской бригады вместе с другими севастопольчанками, вышли навстречу им с сосудами пресной воды в руках. И когда под сильным немецким конвоем пошли мимо них наши пленные раненые, все – и Наташа Тяпкина, и Людочка, ее дочь, и Наталья Игоряева, и Ирина Михайловна Сидорова; и все, все женщины, сколько их было, – бросились к нашим, сквозь немецкий конвой, напоить, напоить последних защитников Севастополя! Немцы толкали женщин в грудь прикладами, били наотмашь по лицам, отбрасывали их...

– А мы все-таки лезли и лезли!.. Кричали, дрались с немцами, чтоб хоть глоток водички нашим-то дать, хоть губы их омочить, – рассказывала Анна Аникеева, – мы ведь бабы, что с нами поделаться... Они нас пинают, а мы бежим и бежим рядом, не отстаем... Головные платки свои стали рвать, кофты на себе стали рвать – оторвем тряпочку, окунем в воду и бросаем нашим, чтоб хоть тряпочку мокрую поймали и пососали, ведь все же легче.

А ночью Наталья Игоряева пошла, как и множество севастопольских женщин, на мыс Херсонес – искать своего сына среди убитых. Меж пленных она его не заметила. Долго ходили женщины ночью по полю боя, переворачивая мертвых, глядели им в лица – своих не нашли.

Удушливо пахло тлеющими трупами, лунное огромное море с воем плескалось в отвесные желтые обрывы. К самой кромке обрыва подошли женщины; на самой кромке, покрыв песок, лежали израсходованные гильзы – до последнего шага, за которым страшная бездна, пучина, смерть, до самого краешка земного дрались черноморцы.

Женщины встали на край обрыва, там, где кончалась земля, встали над морем и до рассвета смотрели вдаль, точно ожидая чего-то. Но только бескрайнее, лунное, пустое-пустое море шумело перед ними.

– И показалось нам, что свет кончился, – медленно, глуховато рассказывала Игоряева. – Пришли в город, несколько дней назад еще гремело все, а теперь тихо-тихо, как в могиле. Ни радио, ничего. Где теперь войска наши? Да и есть ли они? Немцы говорят – больше наших нигде нет. Не верим, а страшно. А вдруг? И день за днем тянется, как в могиле... И вдруг слышим в небе самолет, и кто-то на соседнем дворе как закричит: «Бабоньки! Наши! Наши бомбить пришли!» Ага, это наши прилетели бомбить. И как же мы обрадовались! Повыскачали все, обнимаемся, плачем, целуемся, как на пасху. Глядим вверх и бомбов ничуть не боимся. Кричим, как будто услышать нас могут: «Миленькие! Родные! Хорошенько их!» Наши! Не забыли. Значит, есть где-то наше войско. Помнят нас. Придут.

...И в древний Херсонес тоже вошли немцы. Они выбросили Александра Кузьмича из его квартиры, расположились в залах музея... Они рассовывали по карманам драгоценные греческие терракоты, стеклянные сосудики для благовоний и вдовьих слез, они царапали на

амфорах свастику, разводили на древних мраморных плитах варварские костры. Отчаяние владело старым ученым столь сильно, что делало его бесстрашным. Он шел к немецкому офицеру, командующему частью, и кричал на него, и требовал унять солдат. Увидев в руках солдата какую-либо музейную вещь, Тахтай шел прямо на него и начинал мягко, но настойчиво отнимать эту вещь.

– Камрад, – говорил он, пытаясь разжать цепкие пальцы грабителя, – камрад! Это нельзя. Это принадлежит прошлому. Это достояние человечества. Это не ваше...

И иногда солдат так изумлялся тому, что слабый, очень старый, морщинистый и седобородый старичок отнимает вещь у него, вооруженного здоровяка, которому достаточно только дунуть, чтоб старичок покатился с ног, что, хохоча и изумляясь, отдавал украденную безделушку.

Да, он смешил их просто до колик, этот русский чудак, герр профессор, не понимающий, с какой опасностью для жизни отбирает эти совсем некрасивые, надбитые кувшинчики и флаконы...

Но Александр Кузьмич все понимал!

«Ничего никому, ни эллину, ни варвару, но буду охранять для народа херсонеситов», – упрямо твердил он присягу своего города – единственный херсонесит, единственный человек среди занявших Херсонес варваров.

В эти же дни у другого, северного моря, на другом конце России эти же варвары, окружив наш город пещерным кольцом, бомбили, обстреливали и разрушали его.

...А потом варвары разрыли участок еще не исследованной археологической целины и залили его бетоном. А ведь, может быть, именно под этим участком был храм Диониса – тот чудесный храм Диониса, открытия которого трепетно ждали археологи всего мира. Теперь он погиб еще раз и уже навсегда.

Потом Александр Кузьмич обнаружил, что немцы заготовили два ящика, а на ящиках написали: «Покорителю Крыма барону фон Манштейну». Эти ящики были приготовлены – один для плиты с грифоном II века до нашей эры, другой для мраморного аканфа IV века до нашей эры, драгоценностей музея. Немцы собирались украсть их у Херсонеса... Почти чудом удалось Александру Кузьмичу спасти драгоценные мраморы.

Под ежеминутной угрозой ареста, лагеря, смерти Тахтай берег и хранил музей, Наталья Тихоновна Тяпкина – госпитальное белье, и каждый из них был верен своей присяге.

Наталье Тихоновне не удалось сберечь белье до прихода наших. Какая-то тварь, из тех, кого народ заклеил кличкой «шоколадницы», выдала ее немцам. Ночью к Тяпкиной пришли трое, забрали белье, «заодно» дочиста ограбили всю ее квартиру, пинали маленькую женщину коваными своими сапогами. Потом таскали в гестапо, допрашивали, кто она такая, но так и не дознались, что она жена офицера и депутат районного Совета. Ни ее, ни Марию Павловну Ежову никто не выдал. Народ был верен своей власти. Народ оберегал своих избранников и казнил предателей.

Так был казнен севастопольскими женщинами предатель Жиго, и вот как это произошло.

Старший сын Марии Павловны Ежовой Петя, стоя однажды вечером у ворот своего домика, увидел идущего по улице бывшего своего учителя, некоего Жиго. Жиго года три назад уехал из Севастополя в Симферополь и вдруг почему-то опять оказался здесь.

– А, Петушок, – сказал Жиго, подходя, – какой ты большой стал, какой славный... Как живешь?

– А вы зайдите к нам, посидите, – ответил Петя, и Жиго вошел в тенистый дворик Ежовых и сел под виноградную лозу на лавочку.

– Ну что, Петушок, – сказал он, помолчав, – кончилась поганая большевистская власть, а?

Сердце у Пети похолодело от какого-то странного ужаса, когда он услышал эти слова от учителя своего, который учил его в советской школе географии и истории. Петя глядел на Жиго остановившимися глазами.

– Навсегда кончилась, – с удовольствием сказал Жиго, – кончилась и не вернется.

Петя почему-то встал. Его мелко трясло, он боялся, что с ним сейчас будет припадок, он сказал очень тихо и очень твердо:

– Она не кончилась и никогда не кончится, а вот ваша фашистская власть скоро кончится. И я жалею, что я вас во двор пустил. Вы уходите отсюда. Пожалуйста, сию минуту уходите, а то я с вами что-нибудь сделаю.

И было, наверно, в голосе и взоре больного юноши что-то такое, отчего Жиго сразу выскочил за калитку и оттуда на всю улицу крикнул:

– Ну погоди же, большевистский щенок, это тебе даром не пройдет.

И верно, через несколько дней Петю забрали в гестапо, и так и сгинул он там, как сотни других севастопольцев. Ясно было всем, что Петю выдал учитель Жиго.

– Какой он хоть из себя-то, подлец этот, – негромко спросила Марию Павловну забежавшая поплакать с ней Наталья Игоряева.

– Он заметный, – вздохнула Мария Павловна. – Рыжий такой... Весь рыжий...

Неизвестно чем, но чем-то не угодил изменник новым своим хозяевам, потому что, когда наступила зима (а зима была голодная, холодная, без огня и воды, почти такая, как у нас в Ленинграде), появился Жиго на улицах в лохмотьях, зеленый и опухший, дрожащий и жалкий, с протянутой рукой, вымаливая пищи и крова. А все уже знали, что этот рыжий – Жиго, тот самый, кто предал немцам эпилептика Петю, сына Ежовой. И вот, если стучался он в дом, просясь обогреться хоть на часик, ему отвечали:

– Проходи. У нас для тебя холодно. Замерзнешь.

И если просил он хоть глоток теплой воды, ему даже глотка воды не давали, а в Севастополе был в то время один колодец, с водой было очень плохо. И если просил хоть корочку хлеба, крошки не давали, одной креветки не давали, потому что знали, что это предатель. А Жиго становился все страшнее, он приходил на базар и, еле бродя по базару, все униженной просил людей покормить его. Но люди смотрели на него, прямо в лицо его – истощенное, одичавшее, смотрели и ничего не давали. И если кто-нибудь на базаре, еще не знающий, кто просит помощи, протягивал было руку с кусочком пищи, то обязательно стоящий рядом наклонялся к уху подающего и шептал несколько слов, и рука подающего отдергивалась, и, жестоко глядя в глаза умирающему от голода предателю, человек говорил:

– Проходи. У меня для тебя ничего нет.

Отовсюду глядели на Жиго осуждающие, приговаривающие его к смерти глаза. И даже когда подошел он к маленькой Людочке Тяпкиной, которая несла в корзинке явно что-то съедобное, и попросил у нее хлеба, он и у маленькой девочки, похожей на кузнечика, увидел тот же приговаривающий его взгляд. И так он и сдох на базаре, казненный голодной смертью, к которой безмолвно приговаривал его народ за предательство и измену.

«Буду врагом злоумышляющему и предающему Херсонес, или Керкинитиду, или Прекрасную гавань... Не вступлю в заговор ни против херсонеситов, ни против кого-либо из сограждан, кто не объявлен врагом народа. Если же я с кем-либо вступил в заговор... да не приносит мне плода ни земля, ни море, женщины да не рожают прекрасных детей...»

Нет, севастопольские неохерсонеситки не знали этой присяги. Просто все самое лучшее, все самое верное, самое чистое, высокое и беззаветное, что тысячелетиями вырабатывало человечество, с обновленной силой жило в русских людях, защищающих любимую землю, как знамя было поднято ими, как эстафета истории принято.

«Я, старшина Ревякин Василий, 1918 года рождения, член и руководитель КПОВТН – Коммунистической подпольной организации в тылу у немцев, – клянусь в беспредельной преданности Родине и своему народу и, полный ненависти к гитлеровским захватчикам, готов пойти на самопожертвование ради достижения той цели, во имя которой борется многомиллионный народ Советов, Красная Армия и ее союзники».

И такую же клятву, вслед за своим руководителем, дали все члены КПОВТН – севастопольские девушки, и юноши, и моряки, бежавшие из немецкого плена. КПОВТН была создана зимой сорок второго года; к Новому году на камнях города уже появилась

первая ее листовка, а к весне даже стала выходить газета. Подпольщики непременно хотели назвать ее «Голос Москвы», но не нашли шрифта для этого заголовка и назвали ее «За Родину»...

...Тянулись страшные дни германского плена...

По утрам Ирина Михайловна Сидорова, одна из прачек бывшей тяпкинской бригады, выходила, как и другие жители Севастополя, на базар. Среди дремучих руин, окруженный почти античными, полуобвалившимися колоннами, толпился жалкий базар, где голодные, оборванные севастопольцы чем-то друг с другом обменивались, чем-то «торговали» – надо же было как-нибудь жить. Сидорова сначала заглядывала под столики – именно в эти ранние часы под столиками валялись листки. Севастопольцы уже знали, что это за листки, и, увидев листок такой, Сидорова делала вид, что у нее развязались шнурки на баретках, наклонялась «завязать» и быстро хватала листок. Это были листовки, а иногда даже и газетка Коммунистической подпольной организации в тылу у немцев – в них были вести о Родине, о действиях Красной Армии, слова ободрения и надежды, голос Москвы. Сидорова прятала листок и шла дальше, наклонялась к людям, что-то менявшим, чем-то торговавшим, и одними губами говорила:

– Для раненых...

И каждый тотчас же давал ей или денег, или кусочек сала, или ломоть хлеба, но чаще всего – денег. На базаре, где голодной смертью был казнен предатель, никто не отказывал призыву «для раненых». Все знали, что женщина собирает для советских раненых военнопленных. Все знали, что она ничего не присвоит себе, но все собранное отдаст тем, чьим именем взывает к жертве. Да, именно к жертве, потому что немцы фактически обрекли население Севастополя на вымирание, ничем не снабжая его, и люди выворачивались сами, как могли.

На деньги Сидорова тут же на базаре покупала что могла, присоединяла к купленному собранное, дома варила похлебку или пекла что-нибудь, кипятила воду и с кипяченой водой, с пищей шла в «госпиталь», к раненым советским пленным.

Женщины тяпкинской бригады не собирали какого-либо специального собрания, не выносили каких-либо решений. Но все они, начиная с того знойного июльского дня, когда партию наших пленных повели с Херсонесского мыса, а они вышли с водой и мокрыми тряпочками, чтобы освежить пленным воинам запекшиеся уста, все они с того дня, эти женщины – и Наташа Тяпкина, и Ирина Сидорова, и Наталья Игоряева, и Евгения Кузьминична Иванова, и Аникеева, и Ежова, и восьмилетняя теперь Людочка Тяпкина – помогали советским пленным, томящимся в немецком аду. Немцы ведь почти не кормили их, не лечили, не принимали никаких мер против бушевавшей среди них дизентерии – даже больным кипяченой воды не давали... Антисанитария была чудовищная.

– Ведь им, бедным, раны черви точили, – рассказывала Аникеева. – Придешь, взглянешь – дух замрет. Как же тут было не ухаживать, не помогать? Уж мы на все увертки шли, на все хитрости... Мы же бабы.

– А одна хитрость общая у нас была, – досказала Ежова. – Это почта. По нашей улице, по соседним на работу партию пленных гоняли, которые поздоровее. Так они идут и записочки на землю кидают. А мы ребятшек посылали собирать. Вот Людочка Тяпкина хорошим почтальоном была – всякую записочку заметит, даже такую, которую в землю затопчут. Там называют свое имя-фамилию, просят помочь – к таким легче пробраться было, можно было за родственников их выдать: хоть и рискованней, да зато вернее... Одну помню записочку очень печальную, было в ней написано: «Сам встать уже не могу, посылаю это письмецо с товарищем, пусть бросит на Севастопольской улице. Которая женщина это письмецо найдет, пусть станет родной матерью, спасет мою молодую жизнь, погибаю в этом аду от туберкулеза». Наташа Игоряева призналась к нему матерью, да выходить не успела – поздно уже было, еще немножко пожил и погиб...

...Однажды, уже после смерти названного сына, Наталья Игоряева достала зерна, смолочила его, напекла лепешек, накипятила воды и пошла в «госпиталь». Упитанный розовый

немец-часовой, пропуская ее, потянул носом и весело сказал:

– Ой, мамо, что-то вкусное принесла, а?

– Я тебе не мама, – сквозь зубы процедила Игораева.

Немец игриво подмигнул:

– Что, мамо, родственники у тебя тут, а?

– Да, – ответила женщина, уже не в силах сдерживаться, – тут все мои родственники – сыновья.

Она так и не знала, что с ее сыном, защищавшим Севастополь: трупа его она на Херсонце не нашла в июле сорок второго. Она вышла из «госпиталя», оглянулась – разбитый, одичавший город лежал вокруг нее, безысходностью и тлением веяло от камней, сердце у нее обмерло от тоски, от страшного одиночества.

– Стою и плачу, и плачу... И вдруг кто-то сзади тихонько взял меня за плечо. Я обернулась – вижу, стоит вполне прилично одетый гражданин и так сердечно, тихонечко говорит: «Не плачьте, мамаша, мы скоро вернемся». Сказал и отошел – и как исчез в развалке... Я подумала: «А, это, наверно, из подпольщиков или из замурованных... Наверно, правду говорит...» И легче мне стало.

«Замурованными» в Севастополе называли советских пленных, бежавших из лагерей или с этапов и прятавшихся в развалках, главным образом в подвалах. Они тщательно маскировали, замуровывали входы в свои убежища – отсюда и название «замурованные». Жители узнавали их по бутылочкам, с которыми они подходили к единственному в городе колодцу – за водой. Откуда ж у них была бы другая посуда, да и как они пойдут с другой к себе, – а бутылку сунул в карман, и ничего не заметно... И когда к колодцу подходил человек с бутылочкой на веревке, по молчаливому сговору толпа пропускала его без очереди, а если было с собой у кого из женщин что из еды или деньги какие, обязательно совали замурованному в руку. Женщины помогали и замурованным! Так, Мария Павловна Ежова целый месяц содержала троих военных – старшего лейтенанта Милежникова и двоих его товарищей. А привел их в дом Валя, матери сказал, что вот встретил на улице, деться им некуда, надо спрятать и принять на прокорм... Только после освобождения Севастополя узнала Ежова, что сын ее, школьник Валя, был членом Коммунистической подпольной организации, а во время оккупации она не знала этого, сын умел молчать. Валя сам замуровал военных в подвале соседней с их домиком большой развалины, замуровал основательно, оставил только небольшое отверстие, чтобы опускать сквозь него в подвал воду и пищу, и так они там жили целый месяц.

Мария Павловна ничего никому не говорила о них, конечно, но женщины догадывались об этом, и иногда та или другая заходила к ней, как будто совсем по другим делам, а уходя, оставляла что-нибудь съестное, тихонько говоря:

– Для твоих.

И женщины тяпкинской бригады помогали раненым, пленным и замурованным, отрывая куски от себя, от малолетних детей и внучат, вплоть до того дня, когда Красная Армия овладела Севастополем.

«Привет освободителям Севастополя и Херсонеса», – написал Тахтай на воротах Херсонеса, мимо которых наши стремительно гнали немцев к мысу, чтобы сбросить их оттуда с желтых отвесных обрывов.

И вот уже на другой день после освобождения все тяпкинские женщины, все, как одна, вышли на восстановление родного многострадального города!

Это была самая первая черкасовская бригада в Севастополе, и бригадиром ее вновь была Наталья Тихоновна Тяпкина, депутатка Совета, жена офицера, который вошел в тот день вместе с Армией в Севастополь как один из его освободителей.

Офицер Тяпкин шел по улице Двадцать Лет РККА, озирался и не мог понять, где он находится, потому что, за исключением трех-четырех домиков, вся улица лежала в развалинах и кругом было вовсе не похоже на город. Он замедлял шаги, он боялся пойти к тому месту, где когда-то был его дом и семья, а в полтора шагах впереди от него вверх

по улице шла его жена – собирать бригаду на восстановление Севастополя.

– И сама до сих пор понять не могу, почему я оглянулась, как за угол свернуть... Оглянулась и вижу – у нашей калитки военный стоит. Я о нем с самого начала войны не знала, а тут вдруг так спокойно, спокойно подумала: «Ну, вот и мой пришел. Это он...»

И прежде всего тяпкинская бригада получила задание – приспособить к приему больных и раненых больницу на улице Восстания. Женщины подошли к разбитому зданию и испугались: казалось, что оползни эти, камни эти и сотне здоровых мужчин не убрать, не то что старым, истощенным женщинам...

– Но мы ведь бабы, – говорит Аникеева, – мы упрямые... Мы их катом, боком, глядишь – и расчистили...

Много трудных, срочных, утомительных работ произвели женщины, но гордость бригады – это детские ясли на Ялтинской улице, начавшие работать в конце октября месяца.

– Мы взяли на себя смелость подыскать подходящее для восстановления здание, – степенно рассказывала М. П. Ежова, – и, конечно, нашли... Четыре стены были, правда, попорченные. Ну, а больше ничего, конечно, не было. Но мы рады были, что хоть часть стен имеется...

И вот голую, дикую почти, херсонесскую развалину женщины стали превращать в детские ясли. Они ни у кого не просили ни денег, ни материалов – деньги собрали сами, материалы доставали сами: дерево, железо, камни, даже гвозди отыскивали, откапывали из-под развалин, песок и известь выпрашивали «по соседству» – у более важных восстанавливаемых объектов. Женщины сами клали каменные стенки, настилали полы, штукатурили, белили. Даже лошадь, тощую белую клячу, раздобытую где-то, подковали на свои деньги; лошадь подвозила самые тяжелые материалы и, к полному удивлению бригады, не померла до окончания работ.

– Мы все смеялись, – говорила Тяпкина, – что в нашей женской бригаде даже конь – женщина: его Марусей звали.

И вот незадолго до Октябрьских праздников на Ялтинской открылись ясли на сорок человек; сорок матерей получили возможность пойти на работу, сорок уставших, изголодавшихся за время оккупации ребятишек – сердечный, хороший уход. Ведь яслей не было в Севастополе больше двух лет! Бригада Тяпкиной очень гордится своими яслями. А вы прошли бы в мирное время мимо этого бедного двухэтажного белого домика, совсем не заметив его. Но он стоит на улице, где вместо домов нагромождены одни камни, где зияют дырами и зубцами угрюмые развалины, где в каждом дворе – могилы убитых в дни обороны, и щебень, и бедствие вокруг, и потому этот бедный домик, детские ясли, кажется таким сияющим, таким радостным и добрым, каким не показался бы в мирное время и дворец, весь в мраморе и стекле...

И древний Херсонес тоже... восстанавливается: это значит, что Александр Кузьмич придает развалинам их прежний вид – вид развалин; он разбирает бомбовые укрытия, сделанные из обломков колонн византийских базилик, он вновь возвращает камням значение древних камней, дорогих всему культурному человечеству.

Перед праздниками, открыв свои ясли, женщины решили несколько дней «передохнуть», то есть заняться ремонтом своих полуразрушенных жилищ, и мы встретились с ними как раз в эти дни в домике М. П. Ежовой. Полы и стены этого домика сложены из коротких толстых бревен, как называет их Ежова – «французских люков». Это те самые бревна, из которых в 1855 году, во время *той* обороны Севастополя, были построены бастионы. Отец Марии Павловны, черноморский матрос, сражался на этих бастионах за родной город. Указывая на портрет чернобородого широкоплечего мужчины, висящий над комодом, Мария Павловна с уважением и достоинством сказала:

– Вот он, наш папаша... Тоже защищал Севастополь, в пятьдесят пятом... Выходит, что мы – потомственные севастопольские защитники...

Вот в этом-то домике, сложенном из остатков бастионов 1855 года, мы и проговорили с женщинами тяпкинской бригады почти до самого утра. Они сначала попросили нас

рассказать поподробней о Ленинграде – ведь они, как и все другие севастопольцы, в дни, когда немец бешено штурмовал их, слышали голос северного брата: ведь два осажденных города перекликались по радио все время, вплоть до того дня, когда немцы вошли в Севастополь... Но даже в оккупации и народная молва, и время от времени листовки КПОВТН доносили весть, что блокированный Ленинград стоит непоколебимо. Они жаждали узнать – как же жил в это время город?

И мы рассказывали им о нашем городе, и женщины плакали и от всего сердца восхищались и гордились борьбой ленинградцев, а потом рассказывали нам о жизни своей в дни обороны, в дни оккупации, в дни возрождения Севастополя – о том, что совсем бегло пересказали здесь мы.

В тот вечер тут были самые активные женщины бригады – Аникеева, Ежова, Семенюшкина, Иванова, Сидорова, Игораева, Ермалюк, Ренкевич, Дунчевская, Тяпкина, Вольнова, – и мы хотим, чтоб Ленинград знал имена своих соратниц и кровных сестер, потомственных севастопольских защитниц – героических прачек, самоотверженных сестер милосердия, мужественных строительниц – матерей народа.

Ноябрь 1944

Этот день будет

Двадцать седьмого января сорок четвертого года, когда Ленинград салютовал своим доблестным войскам, освободившим его от блокады, – эти войска, продолжая наступление, подходили к Луге.

Сегодня, когда Ленинград празднует первую годовщину своей великой победы, Красная Армия, взяв Познань, подошла к той части польско-германской границы, откуда до Берлина почти такое же расстояние, как от Ленинграда до Луги.

Я знаю, что пространство, оставшееся до Берлина, можно обозначить по-разному, и каждый русский исчисляет его по-своему, и каждый прав. Но сегодня, в этот для всей страны ленинградский день, пусть оставшиеся до Берлина километры будут исчислены ленинградской мерой! Ленинград имеет на это право – у него особые счета с гитлеровским Берлином.

...К годовщине освобождения Ленинграда в ленинградском радиокомитете закончена была замечательная работа: художественный радиofilm, смонтированный из документальных радиозаписей, из живых голосов защитников Ленинграда и радиорепортажей, начиная с июня сорок первого года.

Живой, человеческий голос прошлого, неповторимый шум времени слышен в этом фильме: здесь со свистом снарядов и бомб, с ладожской вьюгой, с Седьмой симфонией и «Варшавянкой» мешаются сотни голосов защитников Ленинграда – солдат, рабочих, матерей, писателей, Героев Советского Союза, ученых. Здесь сохранены живые голоса тех, кто давно уже погиб в битве за Ленинград; здесь есть голоса ленинградцев, известных теперь всему народу, и голоса не известных никому, порой даже не названных по имени. Но все они звучат с одинаковой силой – у павших и живых, у известных и безымянных одно общее, огромное имя: Ленинград. Это не метафора: действительно, в дни блокады ленинградец отвык говорить о себе «я»: он говорил «мы» или «Ленинград». «Ленинграду трудно...», «Ленинград не сдастся...», – говорил человек, гордясь Ленинградом, не думая о том, что это он сам.

...Осень сорок первого года, смешанный шум оборонных работ и очень звонкий, бодрый, пожалуй слишком бодрый для тех дней, голос женщины, восклицающей:

– Здравствуйте, товарищи ленинградцы! Как вы там поживаете, у себя в городе? А мы тут копаем землю... всюю... Не пускаем врага в город! И мы скорей умрем, чем пустим его!

Это голос ленинградской работницы, ставшей землекопом, Ольги Новиковой. Это радиорепортаж с оборонной трассы осенью сорок первого года... Вместе с Новиковой

выступал тогда еще один землекоп – товарищ Котов, а затем, уже в сорок четвертом, он же говорит:

– Товарищи, я только что прослушал с пленки свое выступление и выступление Ольги Новиковой. Хорошая она была женщина... Она умерла зимой от голода, товарищи... Она сдержала свое слово – умерла, но не допустила врага в город.

И вдруг мгновенно вы по-новому слышите и понимаете этот напряженный, вызывающе бодрый голос женщины, голос павшей в бою. Нет, это было не просто выступление, это была клятва, подтвержденная жизнью... Ни одного слова не сказал Ленинград всуе, каждое слово свое обеспечивал он всем достоянием своим – кровью и жизнью, и потому нет ни одного ленинградского слова, которое не сбылось бы сейчас.

...Сохранив голос, пленка не сохранила имени одного ленинградского рабочего, провожавшего на фронт отряд Народного ополчения. Отряд шел уже не под Лугу, а гораздо ближе, наверное под Стрельну, это был сентябрь сорок первого года, а безымянный рабочий говорил им – отчетливо и строго:

– ...А вы, товарищи, помните – Ленинград не подведет, и деритесь как настоящие питерцы, и будьте уверены, что немца мы отсюда погоним и дойдем до Берлина...

Так говорил Ленинград еще в сорок первом году. Но так же говорила и вся Россия. Ленинград был только верным ее сыном. Он только, как сын, вобрал в себя лучшие черты своей матери, и самый великолепной чертой Ленинграда была его железная выдержка. Да, этим он был «весь в мать»... Потому что ведь и матери, на глазах которой пытаются любимого сына, надо иметь немислимую выдержку, чтобы кричать: «Не сдавайся им...» Надо беспредельно любить своего сына – его душу, его честь, его жизнь, чтобы *так* кричать ему. Мы слышали этот крик Родины, полный любви и страдания, мы чувствовали ее материнскую муку за нас. И Ленинград щадил ее; мы долго ничего не говорили ей о боли, которую испытывали, скрывали от нее свое изнеможение, преуменьшали свои пытки... Стоит перечитать сейчас хотя бы письма, которые мы отправляли за кольцо во время блокады. Нет, почти невозможно узнать об истинном положении в Ленинграде из этих скупых фраз: «испытываем трудности», «бывает шумно», «приходится недоедать...» И тон множества этих писем так же бодр, слишком бодр, как голос Ольги Новиковой с оборонной трассы. Но мы знаем, *что* стояло за этой бодростью... Да, мы щадили ее, Родину, зная, как она любит нас.

...И особенно радостно вспоминать сегодня, что во время осады ни на одну минуту не обрывалась наша связь с Большой Землей.

Все ленинградцы помнят, как весной сорок второго года вдруг возникла и молниеносно распространилась в городе, еле очнувшись от страшной зимы, странная «мода»: на груди почти каждого ленинградца появился неведомо откуда взявшийся жетон – маленькая жестяная ласточка с письмом в клюве. Эту ласточку все носили – мужчины и женщины, старики и дети. Она означала что-то вроде «жду хорошей вести», она тоже была – пусть наивным – вызовом блокаде и как-то символизировала жажду связи и даже самую нашу связь со страной: с величайшей опасностью и трудом можно было проскочить в наш осажденный город по ладожской нитке, и только птица могла бы свободно прилететь сюда... Но как раз птицы-то к нам в то время и не залетали!.. И все же откуда-то с дальнего фронта, с юга, вдруг пришло к сотрудникам Публичной библиотеки от когда-то знакомых их бойцов странное, толстое письмо: на большом листке бумаги плотно друг возле друга были нашиты тоненькие желтоватые закорючки, напоминая собой какую-то необычную вышивку, и только маленькая приписка, вложенная в письмо, объяснила его содержание: «Цензура, окажись сознательной, не вытаскивай из письма сушеный лук (витамин), который мы посылаем героическим ленинградцам».

Тоненькие закорючки сушеного лука, пришитые к бумаге огрубевшими от огня, железа и стужи пальцами солдат, невозможно взвесить: любовь не имеет веса и меры.

И той же весной, в марте, в деревнях и селах Ленинградской области, оккупированных тогда немцами, партизаны собирали небывалый красный обоз: они приходили тайком, по

ночам в полуразоренные колхозы и хаты и говорили только одно: «Питерцы с голоду умирают. Надо помочь». И каждый давал что мог: кто мог дать полпуда муки – давал полпуда, кто мог дать горсть – давал горсть, и так набралось более двух сотен подвод с пищей для Ленинграда. Воистину, как сказал великий поэт о великом народе:

Встали – не бужены,
Вышли – не прошены,
Жита по зернышку
Горы nanoшены.

* * *

И вот в город, куда и самолету трудно было проскочить, куда и птицы не залетали, через линию фронта, через свирепое вражеское кольцо, по тайным, одному народу известным путям прошли партизаны с красным обозом в двести пятьдесят подвод, с даром крестьян пролетарской цитадели, с даром пленных голодающим, с даром непобежденных своему знаменосцу...

Птице трудно было пролететь к нам, но в декабре сорок первого года, когда для разгрома немцев под Москвою нужны были танки, рабочие одного ленинградского завода сумели отправить из заблокированного Ленинграда за кольцо, на самолетах, *тысячи* деталей, необходимейших для этих танков, деталей, которых еще не мог в те дни в достаточном количестве дать Урал. Они подвозили эти детали к самолетам на отдаленный аэродром на себе, на тех же саночках, на которых возили мертвецов и воду. Они отдавали перевозке этих деталей последние силы... Но это нужно было Москве!

И сегодня, принимая из рук ее сияющую, самую высокую награду – орден Ленина, – внимая словам ее любви, восторга и благодарности, он отвечает:

– Я был только верен тебе – это все, что я сделал...

Втройне торжествен сегодняшний день для Ленинграда: он не только вспоминает свою великую победу в прошлом году – он всем сердцем своим вместе с Родиной переживает ее сегодняшнюю победу, предвкушает ее завтрашнюю – окончательную победу.

Уже войска наши приблизились к Берлину на расстояние, равное расстоянию от Ленинграда до Луги.

У Ленинграда особые счеты с Берлином.

Год, минувший с торжественного салюта, Ленинград посвятил своему возрождению. Но мы ничего не забыли за этот год, ничего. Мы своими руками уничтожаем в городе следы фашистских преступлений, мы сами покрываем свежей краской стены наших домов; но мы помним, что под этой краской – кровь наших сограждан. Ее не смыть, не закрасить, не уничтожить. Она впиталась в камни нашего города навеки. Быть может, еще не так скоро поставим мы памятник Безымянному Ленинградцу над военными могилами, которых не знала ни одна история, ни один город: над братскими траншеями ленинградцев, погибших от голода. Еще не поставлен над ними памятник, но мы помним, *где* эти траншеи тянутся...

И мы знаем единственных виновников всего этого – гитлеровцев. Их вожаки в Берлине. Вот почему мы мерим расстояние до Берлина своей, ленинградской мерой и исчисляем своим, ленинградским временем.

И чем ближе будут подходить наши войска к Берлину, тем страшнее будем исчислять мы, ленинградцы, остающееся до него расстояние. Мы будем говорить: «До Берлина – как от Ленинграда до Гатчины»; «До Берлина – как от Ленинграда до Пулкова». И наконец мы войдем в Берлин...

Этот день будет. Мы знали об этом еще в сорок первом году, когда враг подошел к нашим стенам и посягнул на свободу города, – безымянные ленинградцы клялись этим днем, этот день недалек, к нему вместе со всей страной движется Ленинград.

...Сегодня праздник в городе.
Сегодня
мы до утра, пожалуй, не уснем.
Так пусть же будет как бы новогодней
и эта ночь, и тосты за столом.

Позволь же мне по гулкому эфиру
сквозь этот черный говорящий круг
войти в твою вечернюю квартиру,
мой ленинградский,
мой давнишний друг!

Позволь с тобой стакан поднять, как чашу,
за дружбу незапятнанную нашу,
за кровное блокадное родство,
за тех,
кто не забудет ничего.

И первый тост, воинственный и братский,
до капли, до последнего глотка, –
за вас, солдаты армий ленинградских,
осадою крещенные войска.

За вас, не дрогнувших перед проклятым
сплошным потоком стали и огня...
...Бойцы Сорок второй,
Пятьдесят пятой,
Второй Ударной,
слышите ль меня?
В далеких странах,
за родной границей,
за сотни верст сегодня вы от нас.
Чужая вьюга
хлещет в ваши лица,
чужие звезды
озаряют вас.

Но сердце наше – с вами. Мы едины,
мы неразрывны, как и год назад.
И вместе с вами подойдет к Берлину
и властно постучится Ленинград.

Так выше эту праздничную чашу
за дружбу незапятнанную нашу,
за кровное военное родство,
за тех,
кто не забудет ничего...

...А мы теперь с намека, с полуслова
поймем друг друга и найдем всегда.
Так пусть рубец, почетный и суровый,

с моей души не сходит никогда.

Пусть душе вовеки не позволит
исполниться ничтожеством и злом,
животворящей, огненной болью
напомнит о пути ее былом.

Мы знаем, умудренные войною:
жестоки раны – скоро не пройдут.
Не все сады распустятся весной,
не все людские души оживут.

Мы трудимся безмерно, кропотливо...
Мы так хотим, чтоб, сердце веселя,
воистину была бы ты счастливой,
обитель наша, отчая земля!

И верим: вновь пути укажет миру
наш небывалый,
тяжкий,
дерзкий труд.
И будет время – к Северной Пальмире
во множестве паломники придут.

Придут из мертвых городов Европы
по неостывшим, еле стихшим тропам.
Придут, как в сказке, за живой водой,
чтоб снова землю сделать молодой.

Так выше, друг, торжественную чашу
за этот день,
за будущее наше,
за кровное народное родство,
за тех,
кто не забудет ничего...

27 января 1945

Берлин пал

Берлин пал.

Берлин взят войсками Красной Армии.

Берлина как столицы гитлеровской Германии – нет.

Миллионы людей – воинов, их матерей, их детей и сирот, их жен, вдов и невест, – миллионы людей миллионами уст во всех уголках земли твердят сегодня: «Берлин пал», твердят без усталости, с восторгом и счастьем.

Нет, Берлин был не просто столицей Германии.

Это гитлеровский Берлин источал из себя тьму, которая ползла по всему земному шару, из страны в страну, задергивая окна черным, гася вечерние огни, погружая города и села в ночь, оставляя лишь зловещий свет пожаров.

Это в Берлине – в рейхстаге его – кишели и клубились самые ядовитые, самые подлые и смертоносные замыслы против всего человечества.

Это из Берлина, из «штаб-квартиры фюрера», нагло, истошно, злорадно голосили фанфары, оповещая об очередном совершенном фашистами преступлении.

Фюрерские фанфары ревели при падении Парижа, при оккупации Норвегии, при уничтожении Варшавы, при взятии Минска, Киева, Смоленска. Они же, эти трижды проклятые фанфары, не один раз нагло провозглашали «несомненное падение Москвы и Ленинграда».

Берлинские фанфары ревели пронзительным, несатым, клокочущим ревом... Я помню это. Я никогда не забуду, как однажды слышала их. Это было в октябре сорок первого. Уже был взят в кольцо Ленинград. Уже к Москве, к самому сердцу Родины, прорывались фашисты, уже отборные эсэсовские дивизии стояли наготове, чтобы начать расправу над нашими городами – Москвой и Ленинградом. И вот в тот вечер мы – группа работников радиокомитета – услышали эти ревушие фанфары. Сначала они прорывали грубый, наглый, торжествующий марш. Затем женский голос произнес: «Сейчас будет говорить штаб-квартира фюрера...» Потом снова пять минут ревели фанфары. Мы стояли у приемника, сжав кулаки, стиснув зубы: уже более двух месяцев не было в Ленинграде ни музыки, ни песен, только метроном стучал в перерывах между краткими радиопередачами, только метроном стучал, как невидимый плотник, да свистели снаряды и бомбы... И вот фанфары проревели в шестой раз, и сытый, самодовольный голос почти лениво произнес, что якобы под Москвой окружено и уничтожено несметное количество наших войск, что якобы путь на Москву открыт, что «дни большевистской столицы сочтены», что «Ленинград тоже обречен»... И после этого сообщения вновь долго и грубо торжествующе ревели фанфары, и вдруг... сразу, без паузы, страшный этот дикий солдатский марш перешел в беспечный фокстрот. И тот же голос, который только что сообщал о «неминуемой гибели России», запел какие-то пошлые слова, что-то вроде «О моя кисанька, что ты думаешь об этом...»

...И танго следовало за танго, один фокстрот за другим, без остановки, пока в городе нашем стучал метроном – в голодающем, темном городе, отрезанном от всей страны. А фашистский Берлин – разбойничий притон – веселился! Берлин веселился, ликовал и отплясывал потому, что реки крови пенились в России. Берлин веселился потому, что горели тысячи русских деревень, гибли люди, потому, что в Ленинграде дети и женщины уже начинали пухнуть от голода, – Берлин захлебывался от восторга.

Мы слушали это людоедское ликование, и я помню, как начальник отдела Николай Верховский (через три месяца он погиб от голода) сквозь зубы сказал:

– Н-ну... будет время... у них метроном все-таки и двух месяцев не простучит.

Но метроном не стучал в Берлине и одного месяца. Они на весь мир провозглашали о «неминуемом падении Москвы» – и не взяли ее. Они четыре месяца обрушивали на Сталинград столько железа, огня и смерти, что этого хватило бы на тысячелетия, – и не взяли его. Они девятьсот дней осаждали Ленинград, подвергая его таким пыткам, о которых до сих пор не расскажешь, – и не взяли его.

Берлин взят. Нет, не тридцать месяцев и даже не четыре пришлось осаждать Берлин. Всего десять дней штурмовали его наши войска. И первый залп по Берлину был сделан ленинградскими артиллеристами – воинами города, который девятьсот дней подвергался обстрелам. Так вместе с москвичами, сталинградцами, севастопольцами подошел Ленинград к Берлину, ворвался в него и бросил его на колени.

Мы не злораствуем. Злорадство было бы недостойно нас самих, оно было бы ниже наших жертв, нашего самоотречения, нашего мужества. Мы справедливо торжествуем. Это торжество света над мраком, торжество человека над злобной и кровожадной гадиной, торжество великодушного народа над обидчиком человечества. Это торжество полно светлого предчувствия близкой, теперь уже очень близкой, окончательной победы!

Запомни эти дни.

Прислушайся немного,

и ты – душой – услышишь в тот же час:
она пришла и встала у порога,
она готова в двери постучать.

Она стоит на лестничной площадке,
на темной,
на знакомой без конца,
в солдатской, рваной, дымной плащ-палатке,
кровавый пот не вытерла с лица.

Она к тебе спешила из похода
столь тяжкого,
что слов не обрести.
Она ведь знала: все четыре года
ты ждал ее,
ты знал ее пути.

Ты отдал все, что мог, ее дерзанию:
всю жизнь свою,
всю душу,
радость,
плач.

Ты в ней не усомнился
в дни страдания,
не возгордился праздно в дни удач.
Ты с этой самой лестничной площадки
подряд четыре года провожал
тех – самых лучших,
тех, кто без оглядки
ушел к ее бессмертным рубежам.

И вот – она у твоего порога.
Дыханье переводит и молчит.
Ну день, ну два, еще совсем немного,
ну через час – возьмет и постучит.

И в тот же миг серебряным звучаньем
столицы позывные запоют.
Знакомый голос вымолвит: «Вниманье...»,
а после трубы грянут и салют,
и хлынет свет,
зальет твою квартиру,
подобный свету радуг и зари,
и всею правдой,
всей отрадой мира
твое существованье озарит.

Запомни ж все.
Пускай навеки память
до мелочи, до капли сохранит
все, чем ты жил,

что говорил с друзьями,
все, что видал,
что думал в эти дни.
Запомни даже небо и погоду,
все впитывай в себя,
всему внемли:
ведь ты живешь весной такого года,
который назовут – Весной Земли.

Запомни ж все! И в будничных тревогах
на всем чистейший отблеск отмечай.
Стоит Победа на твоём пороге.
Сейчас она войдет к тебе.
Встречай!

3 мая 1945

Второй день

Товарищи, а ведь уже второй день мир! Мы уже два дня живем в то время, о котором еще только позавчера, во вторник, мечтали как о самом высшем счастье. Ну, вот оно! Наши улицы с вечерними огнями, зазеленевшие деревья садов и парков, спокойное небо – это все победа, мир.

Вчера после десяти часов вечера, когда в городе начался салют и фейерверк, мы решили посмотреть его с крыши того дома, где в это время были. Это старинный высокий дом, с него хорошо и далеко виден город. И вот мы побежали на чердак, через слуховое окошко вылезли на деревянные мосточки и расположились на них около стеклянной будки. И вдруг на нас пахнуло чем-то таким, что показалось очень далеким, почти невероятным, неправдоподобным: ведь и эти мостки, и эта хрупкая стеклянная будочка со столиком и телефоном на нем – ведь это же был НП, все это было устроено для наблюдения во время воздушных и артиллерийских тревог.

Да, да, мы сами, те, кто сейчас взошел сюда, стояли на этой самой крыше, звонили по этому самому телефону в будочке, сообщая, куда ложатся снаряды и бомбы. Это было совсем недавно, но вчера, в первый день мира, окинув глазами все это военное хозяйство, один из товарищей удивленно произнес:

– Братцы... а ведь в самом деле когда-то были бомбежки...

И мы засмеялись от счастья: были, были, но нет и не будет. Мир!

– А это что такое? – спросил кто-то. На перильцах мостков висели огромные, с человеческий рост, щипцы.

– Да ведь это щипцы зажигалки хватать и сбрасывать...

– Вы с уважением ощупывайте их, как старое, но грозное оружие, – продекламировал кто-то с пафосом.

– Да разве мы ими пользовались? Мы ведь больше руками, ну – лопатой.

– А помните, один маленький мальчик рассказывал, как он зажигалку тушил? Плакал и шепеляво так говорил: «А я ее жа хвошт, жа хвошт и в пешок, в пешок...»

Мы засмеялись.

– А ведь это ужас! – воскликнул кто-то. – Ребенок, маленький, горящую бомбу руками, как кошку, за хвост!

– Не за хвост, а «жа хвошт».

И мы опять засмеялись. Какое счастье, что мы можем теперь вспоминать многое из прошлого не только с трепетом, болью и уважением, но даже с улыбкой, со смехом. Мы имеем право, именно мы, на эту улыбку, мы слишком мало улыбались тогда и слишком

долго не смеялись...

А над Ленинградом рокотал салют – мы узнали по звуку, что это зенитки, – и миллионы разноцветных огней взлетали в небо и осыпались оттуда, и десятки прожекторов качались в его весенней синеве и то выхватывали из сумрака блестящую Адмиралтейскую иглу, то озаряли купола соборов, то пронизывали насквозь стеклянную вышку нашего объекта. Впрочем, это был уже не объект. Это снова был просто дом для людей, и полы и потолки вновь стали в нем полами и потолками, а не нижними и верхними перекрытиями, и окна стали снова окнами, полными уютного света, а не «световыми проемами», которые надлежало затемнять так тщательно, чтобы не только вражеский летчик света не заметил, но даже управхоз не придрался бы! Вновь вернулись к нам наши дома, наши жилища, наша обычная, простая человеческая жизнь, без бомб, снарядов, затемнения, – и это мир, это победа. Она всюду. Она и воздух, и жизнь, и сон, и улыбка – она все.

Мы вспоминали вчера так много, что и перечислить нельзя. Но главное – мы *по-новому* все вспоминали, новым смыслом наполнились для нас наши же недавние переживания, поступки, утраты, новым светом, светом сегодняшнего праздника, озарились они... И, как никогда, мы в эти дни понимаем, что все, решительно все, что мы делали, было непрерывным движением к победе.

Мне вспоминается, как во время второй блокадной зимы, в январе сорок третьего года, домохозяйки из нескольких домов на улице Рубинштейна пригласили меня к себе в красный уголок почитать стихи.

Мы собрались в первом этаже, в глубине помещения, потому что был обстрел и, кажется, одновременно и воздушная тревога с бомбами; мы называли такое «комбинашками». Женщины попросили почитать «Ленинградскую поэму», и я читала, а потом мы стали разговаривать обо всяких насущных бытовых делах, и так как я хорошо знала, как жила в первую, страшную блокадную зиму эта улица и ее люди, я спросила политорганизатора:

– Ну, а как у вас этой зимой – были прошлогодние смерти или нет?

Она энергично покачала головой и ответила:

– Ну что вы, конечно нет. Ведь мы еще осенью собрали весь свой актив и постановили: прошлогоднюю смерть в наш жилой куст не допускать. Так и в протоколе записали. И добились.

Вот, товарищи, какие у нас с вами в жактах протоколы есть: не кого-нибудь, а самое смерть в жилой куст не допускать. И не допускали смерть, а ведь для этого нужно было проделать множество обыкновеннейших, черных, тяжелейших работ: отоплить водопровод, переселить жильцов послабее из верхних этажей в нижние, разносить дома на топливо и многое, многое другое... И все это было ради победы, все это вело к ней, и все это оправдало себя.

Война очень многое взяла от нас. Война разорила немало человеческих душ, опустошив их. И все же неизмеримо больше мы приобрели! Какая это драгоценность, какая правая и чистая гордость – сознание, что мы народ-победитель. Да, мы, вот каждый из вас, кто сейчас меня слышит, – победитель. А все вместе мы – *народ* -победитель. Нет ничего отраднее и выше, как чувствовать себя неотрывной частицей той прекрасной семьи, которая именуется советским народом... За время войны мы, особенно мы, ленинградцы, привыкли и научились жить общими радостями, общими горестями, общей жизнью, мы обогатились нравственно, хотя обогащение это было трагически грозным, мы научились глубже понимать, любить, ценить друг друга.

И в дни мира мы должны быть достойны самих себя, победителей, таких, какими научились быть в дни войны. Великое братство связало нас за годы войны, когда у всех была как бы одна жизнь. Этой одной жизнью была борьба, горе, лишения войны и блокады. И братство это надо бережно хранить и укреплять и теперь, в дни мира, ведь и теперь у всех нас есть одна жизнь – это победа. Уже два дня, как мы живем ею, дышим ее воздухом, неотрывно глядим в ее дорогое, изрубцованное, гордое и светлое лицо, и все громкие,

торжественные слова, с которыми мы хотим обратиться к ней, кажутся нам недостаточными и бедными перед ее величием, и потому хочется говорить с ней очень тихо и очень просто...

– Здравствуй...

Сердцем, совестью, дыханьем,
всею жизнью говорю тебе:

– Здравствуй, здравствуй.

Пробил час свиданья,
светозарный час в людской судьбе.

Я четыре года самой гордой –
русской верой – верила, любя,
что дождусь – живую или мертвой,
все равно, –
но я дождусь тебя.

Вот я дождалась тебя – живую...

– Здравствуй...

Что еще тебе сказать?

Губы мне свело священным зноем,
слезы опаляют мне глаза.

Ты прекраснее, чем нам мечталось,
свет безмерный,
слава,
сила сил.

Ты – как день, когда земля рождалась,
вся в заре, в сверкании светил.

Ты цветеньем яблоневым белым
осыпаешь землю с высоты.
Ты отрадней песни колыбельной,
полная надежды и мечты.
Ты – такая... Ты пришла такая...
Ты дохнула в мир таким теплом...
Нет, я слова для тебя не знаю.
Ты – Победа. Ты превыше слов.

Счастье грозное твое изведав,
зная тернии твоих путей,
я клянусь тебе, клянусь, Победа,
за себя и всех своих друзей –
я клянусь, что в жизни нашей новой
мы не позабудем ничего:
ни народной драгоценной крови,
пролитой за это торжество,
ни твоих бессмертных ратных буден,
ни суровых праздников твоих,
ни твоих приказов не забудем,
но во всем достойны будем их.

Я клянусь так жить и так трудиться,
чтобы Родине цвести, цвести...
Чтоб вовек теперь ее границы
никаким врагам не перейти.

Пусть же твой огонь неугасимый
в каждом сердце светит и живет,
ради счастья Родины любимой,
ради гордости твоей, Народ.

10 мая 1945

Возвращение мира

Они вернулись на свои места, на Аничков мост, теплой белой ночью второго июня.

Вместе с неубывавшей толпой горожан я стояла и смотрела, как поднимали одну из бронзовых групп на высокий гранитный, выщербленный осколками постамент: это была как раз та статуя, где над нагим, поверженным наземь юношей высоко взвились тяжелые копыта разъяренного коня.

Мы стояли долго, мерцала белая ночь, статуя подымалась медленно и вдруг в какой-то момент так и врезалась в бледно-зеленоватое небо всем своим черным, бурным, трагическим силуэтом! И мы вздрогнули все, даже озноб пробежал по телу: так прекрасно явилась в небе скульптура, так пронзительно остро вспомнился сорок первый год и так остро еще раз ощутили мы *мир*.

Нет ничего страшнее и печальнее памятника, сошедшего с места. А ведь осенью сорок первого года этот поверженный бронзовый юноша лежал прямо на тротуаре и бешеные копыта его лошади висели над самыми головами прохожих. А на другой стороне моста юноша, уже усмиривший коня, тоже стоял на тротуаре, держа лошадь под уздцы; он был лишь немного выше человеческого роста, он как бы шел рядом со всеми, торопясь увести своего коня отсюда.

Сошедшие с высоких своих постаментов, стоящие прямо на земле, разбредающиеся в разные стороны, они уже не скульптурой были, а живыми людьми, как мы, и наглядно олицетворяли собой бедствие, такое грозное, которое даже их, многопудовых, неподвижных, огромных, сдуло с многолетних мест.

Долго стояли в ту осень на тротуарах наши кони, медленно, уже слабеющими руками тащили их ленинградцы к саду Дворца пионеров, осторожно погружали в ямы. Больше трех лет лежали они, спрятанные глубоко под землей, а появились – все четыре – за одну ночь! Овеянные новыми воспоминаниями, полные новым, особым смыслом, они стали вновь украшением города. И много дней подряд каждый ленинградец, проходя по Аничкову мосту, замедлял шаги, с волнением и любовью глядел на коней и думал:

«Стоят! На месте стоят, как в мирное время!»

И сразу радостно вздрагивало сердце: почему же «как», ведь и в самом деле – мир!

...В ту ночь, когда клодтовские кони возвращались на старые места, я шла к себе мимо дома, в котором жила много лет, пока блокада не выжила меня оттуда. Поворачивая с Фонтанки на Пролетарский переулок, где был мой старый дом, я еще раз оглянулась на силуэты коня и укротителя и вдруг снова вспомнила сорок первый.

Я вспомнила одну октябрьскую ночь, проведенную в кочегарке моего бывшего дома. Кочегарка была маленькая, тесная, вся в каких-то сплетениях труб в рычагах, с двумя черными котлами. Красноватая, воспаленная лампочка свешивалась с потолка, обливая все это сумрачным светом; широкий низкий чурбан, похожий на плаху, стоял перед котлами, и белая, тощая, как скелет, грязная кошка неподвижно сидела на этом чурбане и глядела безумными зелеными глазами; котлы были еле-еле теплыми – выходил уже последний уголь,

было душно, пахло землей, углем и сырым камнем... Здесь у нас было что-то вроде КП нашей группы самозащиты и место отдыха для ее дежурных бойцов. Фашист в октябре бомбил нас непрерывно и особенно свирепо по ночам, и в ту ночь была уже чуть ли не пятая бомбежка. Я, нач группы самозащиты Н. Н. Фомин, инженер А. В. Смирнов и еще два товарища только что сменились с дежурства и приплелись сюда, измученные бессонницей, страхом и голодом, и сами не знали, что делать: то ли идти немного отдохнуть к себе по квартирам, то ли оставаться здесь.

– Давайте останемся здесь, – предложил Смирнов, которого мы за непомерно высокий рост и детские голубые глаза называли дядя Степа. – Все-таки здесь не так слышно: надо немножко побереечь нервы...

Я раздвинула дачный шезлонг, принесенный сюда на предмет отдыха, – великолепный, отполированный шезлонг, от которого так и веяло жарким летом, и солнечными бликами в тени, и взморьем, Фомин сел на маленький круглый стульчик, закрыл глаза и обнял обеими руками чуть теплый котел. Дядя Степа растянул под самым потолком между двух котлов гамак, тоже чудесный, летний, напоминающий о даче... Но гамак был слишком короток для дяди Степы, так что ему пришлось сложиться вдвое, как деревянному аршину, чтобы лечь в гамак. Двое других товарищей бросили какой-то брезент на пол возле деревянной плахи и пристроились на полу, положив на плаху головы.

От усталости, от страшного напряжения (весь вечер и половину ночи мы видели с крыши, как горел и рушился кругом нас Ленинград) спать никто не мог, да к тому же все было слышно, даже вой самолета вверху, и свист бомб, и взрывы, и белая кошка начинала тогда вопить нехорошим, не кошачьим голосом и, тараща зеленые глаза, царапала вытянутыми лапами землю. Надо признаться, тут было куда страшней, чем наверху, и еще тоскливее...

«Если есть ад, – думала я, – то он, конечно, такой, как эта кочегарка. Эти котлы, этот дьявольский кот-оборотень... и красноватый свет, и, главное, эта бесконечность страдания, бессрочность его. И не физического, а нравственного... Никакого конца, никогда – ни смерти, ни отдыха, ни жизни... Пытка страхом... И еще эта кошка чудовищная... Выбросить бы ее надо!»

– Бомба идет, – отметил Фомин, не открывая глаз, и плотнее обнял котел.

– Здесь же запрещено говорить о бомбах, – кротко сказал из своего гамака дядя Степа. – Давайте о другом, если не спится... Вы ведете дневник, Николай Никифорович?

– Вот еще, – пробурчал Фомин. – К чему это?

– А я веду, – сказал Смирнов медленно. – Сейчас, я слышал, почти все ленинградцы ведут дневники... Но, наверно, у меня самый странный дневник... Я совсем не записываю в нем личных переживаний. Но зато я тщательно отмечаю различные исчезновения... Я записал день, когда зачехлили купол Исаакия и Адмиралтейскую иглу... И другое... И вот, наверно, никто в городе, кроме меня, не записал, что сегодня, на сто восьмой день войны, с Аничкова моста исчезли клодтовские кони...

– И так и отсчитываете, на который день войны что исчезает? – заинтересовался один из товарищей, поднимая голову с плахи. – А зачем?

– Не знаю сам, – грустно ответил дядя Степа. – Я же сказал, что не анализирую и не записываю личных переживаний... – И, помолчав, добавил: – Может быть, я надеюсь, что удастся записать дни, когда это начнет возвращаться...

Клодтовские кони вернулись на свои места на четвертой неделе мира. И сегодня, когда я пишу об этом, идет уже третий месяц мира, сегодня его шестьдесят восьмой день.

Мы все до сих пор отсчитываем дни с 9 мая, как четыре года назад отсчитывали дни с 22 июня. Но ныне первыми днями победы мы датируем события, полные радости, потому что первые дни мира – это прежде всего дни великих возвращений. Возвращен мир, и вместе с ним начинает возвращаться все, чем он прекрасен.

На тридцать шестой день победы открылся Екатерининский парк в Пушкине. Еще Пушкин весь в развалинах, но люди давно вернулись сюда, а 17 июня десятки тысяч

ленинградцев вновь приехали в любимые сады только затем, чтобы бродить по «таинственным долинам», лежать на траве, смотреть на могучие деревья и буйно разросшиеся за годы войны кустарники. Так деревья и земля вновь возвращаются к человеку – не затем, чтобы маскировать его, скрывать в траншеях и ямах, а для того, чтобы радовать и утешать, как когда-то... нет, еще любовней и заботливей, чем *тогда* : ведь мы так истосковались по природе за эти годы.

Еще закрыт Александровский парк – он не до конца разминирован, но в Екатерининском уже давно сровняли с землей немецкие кладбища, и юный бронзовый Пушкин вновь мечтает на своей скамье в Лицейском садике, и воспетая им Девушка с кувшином, извлеченная из земли, как прежде, склонясь, сидит на камне. Правда, куда-то пропала разбитая урна, и струя, изливавшаяся из нее, ныне иссякла; но ведь поэт назвал ее «вечной струей» – скоро она заблещет вновь, скоро и она вернется.

Чудо! не сякнет вода, изливаясь из урны разбитой...

На пятидесятый день мира в Ленинграде были подняты из земли статуи Летнего сада. Их мыли горячей водой, мочалкой и мылом, прежде чем расставить по местам, и они стоят теперь празднично белые, какие-то особенно нарядные, облитые солнцем и золотыми бликами Летнего сада.

Вот идут по дорожке Летнего молодой лейтенант и девушка, и по тому, как прижимает он к себе ее руку, как доверчиво и преданно поднимает она лицо, глядя ему в глаза, – по всем безошибочным, одинаковым, вечным, как мир, признакам видно, что это влюбленные. Не разнимая рук, они ходят от одной статуи к другой, вместе наклоняются и читают надписи.

– Ро-мон-на, – медленно читает лейтенант и, хмурясь, пожимая плечами, говорит: – Не знаю, кто такая. Надо почитать...

Потом они глядят друг на друга и хохочут. У него на груди медаль «За оборону Ленинграда». Он, видимо, из тех, кто прибыл из недр России на защиту города, и защищал его, и защитил, и вот только теперь увидел вместе с любимой девушкой. Они откровенно, бесконечно, вызывающе счастливы. Они были бы счастливы, конечно, и шестьдесят восемь – семьдесят дней тому назад, если бы ходили так же, прижавшись друг к другу, по летней аллее прекрасного сада, но сейчас нет ничего такого, что, как тогда, могло бы искромсать это счастье: лейтенанта уже не убьют, не искалечат, она не станет вдовой, – ведь войны нет, она кончилась нашей победой, мир. И еще прошло только шестьдесят восемь дней мира, а впереди у них, этих счастливых, и у всех, всех нас сотни дней, годы мира. И уже скоро мы перестанем считать на дни и будем считать мир на годы, а он будет длиться и длиться...

Мне недаром, наверное, захотелось начать с кладтовских коней. Вот так же, как поднимали на высокий пьедестал этого бронзового юношу, усмирившего дикого коня, – так же начали мы поднимать свою мирную жизнь, и будем поднимать ее бережно, с великим трудом и усердием, с большим напряжением сил, вершок за вершком, шаг за шагом, пока она вдруг, как бы внезапно, не заблещет со своей вершины на радость всем нам, ее поднимавшим.

И мы будем вспоминать тогда первые дни мира с таким же увлечением, изумлением и гордостью, как, например, первые дни обороны Ленинграда, но без привкуса горечи, с которым невольно вспоминается та трагическая осень, а с чувством... с чувством, еще неизвестным нам, но, наверно, удивительно хорошим и светлым.

И примерно так же, как теперь, мы говорим: «А помните, как мы строили баррикады? Как собирали бутылки в жактах – отражать танки? Как бомбили нас девятнадцатого сентября?» – так же будем говорить мы о тех днях, которые сейчас переживаем...

Мы скажем, наверное:

«А помните, в июне сорок пятого весь Невский был в лесах, и что удивительно – ведь работали-то одни женщины! И стены клали, и штукатурили, и стеклили, и красили – сплошь женщины. Это как в сорок первом на оборонных вокруг Ленинграда... Тоже ведь были

больше всего женщины... Женщина Ленинград укреплениями обводила, женщина его и подняла!..»

И подобно тому, как вспоминают наши производственники о том, как в начале войны учились они производить специальные гранаты, разрывающие колючую проволоку, так будут вспоминать они, как переходили с гранат на мирное производство.

Мы жертвовали ради победы в течение многих-многих дней не только жизнью, но ежедневными, насущнейшими удобствами, без которых плохо и трудно жить. Мы обносились за время войны, устали от постоянных нехваток самого простого и мелкого. И так приятно знать, что с первых же дней мира ленинградские фабрики и заводы стали готовиться к тому, чтобы как можно больше и скорее дать людям вещей, необходимых для их обычной, мирной жизни, – тканей, обуви, утвари и много-много другого.

Возвращен мир, и с ним возвращается все, чем он хорош, и человек возвращается к человеку.

В первые дни мира, когда вновь взлетели клодтовские кони на свои постаменты, когда в дремучем Екатерининском парке вылавливали последние мины, а «Треугольник» изготовил первые соски, когда десятки тысяч новых деревьев были высажены в садах Ленинграда и первые люльки закачались на фасадах домов, – в эти дни начали прибывать в Ленинград первые эшелоны с детьми, эвакуированными в начале войны.

С восторгом возвращались маленькие ленинградцы в родной город, хотя многие из них уже не помнили его. С трепетом и любовью встречали их матери и родственники, хотя и не все узнавали своих детей сразу...

Я запомнила одну мать, которая, стоя перед группой ребятишек и глядя то на одного, то на другого, растерянно восклицала:

– Да где ж моя Ниночка? Ниночка-то моя где?

А длинноногая русая девочка удивленно и обиженно кричала:

– Мамочка, да вот я! Да вот же я! Это я, я!

Ниночку увозили из Ленинграда, когда ей было всего пять лет, а сейчас ей шел уже десятый, она уже перешла во второй класс, она умела читать. Но матери, прибежавшей на вокзал, она все еще представлялась до этой минуты маленькой, пухлой, совсем картошкой, и мать не могла сразу узнать ее, ставшую сознательным человечком за годы войны и разлуки.

– Да ведь ты совсем большая, – говорила мать, плача и обнимая дочку, – да ведь ты совсем другая стала без меня.

И ей было немного грустно, что *той* Ниночки, которую она отправляла, которую так хорошо знала и любила, нет уже, она не встретила, не нашла ее, а есть другая, новая, взрослая девочка, милая, напоминающая прежнюю Ниночку, – и она уже привыкала к ней, и гордилась ею, и любила по-новому.

О, как долго не было слышно в нашем городе детских голосов. Всех приезжающих в Ленинград поражало это. Но вот они звенят под моими окнами, во дворе, они кричат: «Окружай его, окружай!» – они все еще играют в войну, в блокаду, кто-то вопит: «Артиллерийский обстрел продолжается!» – и громко хлопает крышкой мусорного ящика... Действительно, похоже! Недаром мгновенно я слышу плаксивый, громкий крик нашей дворничихи тети Пани:

– А ну, перестань хлопать! Чтоб не было мне этого! Наподдаю!..

И так же громко и горестно она объясняет кому-то:

– Я этих стуков слышать не могу! До чего удивительно – всю блокаду на посту в этой подворотне выстояла, ни бомбов, ни снарядов – ничего не боялась. А теперь шина лопнет или стукнет вот так, кастрюлька в кухне упадет – прямо в дрожь кидает со страху! Так и чудится: обстрел! И что за чудеса со мной – понять не могу.

...А шесть дней назад, на шестидесятый день мира, мы встречали наших гвардейцев, проходивших через город.

Это были солдаты и офицеры дивизий, которые стояли вместе с нами в кольце всю блокаду, которые рвали блокаду в сорок третьем году, в огненном районе Шлиссельбурга,

которые осенью сорок третьего заняли знаменитые Синявинские высоты, освободив тем самым от вражеского обстрела единственную железнодорожную нитку, связывавшую нас со страной. Это были те дивизии, которые ликвидировали проклятую блокаду в январе сорок четвертого, освобождали Ропшу, Красное Село, Петергоф, Дудергоф, Пушкин, Гатчину...

И рано утром восьмого июля в домах никого не осталось: все ленинградцы, от мала до стара, вышли на улицы. Все шли. И те, кто ожидал увидеть среди проходящих гвардейцев своих родных, близких и знакомых, и те, кто никого уже не ждал с войны, совсем никого.

...Вот стоит около Триумфальной арки на улице Стачек аккуратная старушка в пестром, «веселеньком» ситчике, в старинном кружевном шарфе на голове... В носовом платке у нее завернут гостинец – «маленькая», в руке серебряная стопочка – чарка...

– Ты кого, бабушка, встречаешь?

– Я? Я, милый, всех любя встречаю... Всех!

– А твои где же?

– А мои, милый, еще за революцию, в гражданскую на фронтах полегли...

...Стоит девочка лет восьми с огромным, любовно собранным букетом: в середине сияющие ромашки, они окружены синим кольцом васильков, потом идут малиновые, горящие, как огоньки, гвоздики, и какой-то свежей, нежной травкой обрамлен весь букет. И сама девочка похожа на ромашку – в белом платье, с ярко-золотистой головой, с солнечным бликом на самой макушке.

– Ты папе букет принесла, девочка, да? Сразу видно, что папе! Ну-ка, как его зовут?

Она поднимает круглые глаза и говорит негромко:

– Нет... Мой папа в первые дни войны убит...

И, видя, как пробегает по лицу взрослого смущение, тут же поясняет:

– Это я чужому папе отдам... Бойцу, как мой... чьему-нибудь папе, понимаете?

– Понимаем, дочка!

...И хотя многие-многие ленинградцы никого не ждали с этими дивизиями, и хотя не было среди ленинградцев ни одного, кто бы не утратил в этой войне близкого человека, я никого не заметила в трауре или нарочито темных одеждах – нет, все были в лучших своих светлых и пестрых платьях, и все – с цветами. Не было пышных цветов, роз или георгинов, в городе их еще не было, – были только полевые цветы, а у иных – только листья клена или дуба.

Мне казалось, что победители пойдут во всю ширину наших улиц, гулко печатая шаг, чтоб отдавался он как гром, как обвал, – шаг победителей, пойдут в сверкании и блеске, в оглушающем гуле медных сияющих оркестров, стройными грозными рядами... Но так прошли они только по Дворцовой, где был парад, и через площади, где были митинги, а по улицам они шли совсем иначе, и прохождение было таким, которое остается в сердце до самой смерти.

Мне довелось встречать одну из гвардейских дивизий на Литейном, возле Невы, у моста.

Они не печатали шага, не шли во всю улицу – они шли по трамвайным путям, по трое, иногда даже по двое в ряд, а мы, сбегав с тротуаров, стояли так близко от них, что старухи гладили плечи проходящих гвардейцев, и мы пожимали им руки, кидали наши ромашки и шиповник, дубовые и кленовые листья прямо под пыльные сапоги их и вкладывали им прямо в ладони чистые, прохладные платки, и они тут же утирали ими разгоряченные свои лица, а мы совали им в руки эскимо, папиросы, шоколад, а женщины постарше – даже «маленькую» в карманы, и мы то неистово рукоплескали и что-то кричали, то молча обнимали и целовали их, и так все плакали!.. Как мы плакали в этот день...

А они шли мимо нас, очень усталые, в тяжелых пыльных касках; их лица, озаренные смущенной улыбкой, были темно-красными от загара; мокрые, потемневшие от пота гимнастерки пестрели нашивками за ранения и множеством орденов и медалей, и медали внятно и тихо звенели при каждом их шаге. Они не шли по улицам сомкнутым строем, одни – нет, многие из них шли под руку с женами, или невестами, или знакомыми, а то и

незнакомыми, просто из толпы вышедшими девушками, иные несли на руках маленьких своих ребятишек, встретивших их, а ребята постарше – свои и чужие – семенили рядом или бежали целыми толпами между батальонами, и несметное количество мальчишек сидело на стволах огромных орудий, как птицы, и штатские с нашивками ранений бок о бок шли с гвардейцами, оживленно беседуя, – их боевые друзья.

И, глядя на усталые, обгоревшие лица гвардейцев, на их жен, детишек, девушек, друзей и матерей, шагающих рядом с ними, глядя на всех, кто тянул к бойцам руки с лаской, с цветком, с подарками, мы поняли, что это не только гвардейские дивизии, это – *народ возвращается с войны*. Уставший после многолетних кровавых битв, победивший страшного и сильного врага, ликующий и ничего не забывший, в пыли, в поту, в ранах и великой славе – могучий, добрый, дружный русский народ возвращается с войны, справедливой и победоносной.

И было – ощущаемое всеми – особое величие в том, что этот народ, возвращаясь с войны, идет по улицам *Ленинграда* – города, принявшего несказанные ратные муки и труды, города необыкновенной красоты, где нет ни одной пяди асфальта, не политой кровью защитников, и где нет в этот день мертвых, но есть только живые: недаром же дети, и жены, и матери погибших вышли встречать живых, как родных, – вышли в праздничных платьях, с полевыми цветами и зелеными ветками в руках.

...Мир возвращается к нам, и мы – к миру. Уже шестьдесят восемь дней мира прожили мы. Это мало, и это много. Мы узнали за эти дни, что возвращение – иначе еще говорят: возрождение мира – это большой праздник и большой, непраздничный труд. Мы знаем также, что ничто не вернется к нам точно таким, как было до войны: ни дети, ни чувства, ни даже неподвижные памятники. Мы живем еще как бы на рассвете, в раннем утре мира. Мы знаем, что победа будет разгораться, как разгорается утро, переходя в полдень... Может быть, что-то из того, что придет к нам с нарастанием мирного времени, не будет узнано нами, но хочется верить и верится, что полдень мира будет еще светлее, еще щедрей, еще свободней, еще прекрасней, чем мы представляем его сейчас, в первые дни после победы.

15 июля 1945

Вечно юный^[1]

...Так что же мне сказать тебе и о тебе, Ленинград, в дни, когда отмечается твое величавое двухсотпятидесятилетие?

Нет, не праздно спрашиваю я себя и тебя об этом: мне надо говорить о тебе столь же много, как о жизни всей страны, столь же много, как о своей жизни, – ведь это неотделимо. И вот не знаешь, что же выбрать, что предпочесть из огромного потока событий, фактов, чувств для краткого слова о родном городе в день его праздника. И пусть простят меня, что слово это будет не слишком стройным, что «я» и «мы» будут постоянно заменять друг друга, – ведь не о себе же я хочу написать, а о нашем поколении, о сверстниках своих – ленинградцах, а мы все и есть Ленинград.

Мне думается, что, пожалуй, ни в одном городе так тесно не связана личная судьба человека с судьбой города, как в Ленинграде. Это, наверное, потому, что у Ленинграда, как и у человека, есть своя собственная судьба (наверное, ее можно назвать – история), не похожая на судьбу никакого другого города (а ведь есть же города с одинаковыми судьбами), интенсивная, трагедийная и героическая судьба, неповторимая, как его человеческая душа и особо вычеканенный профиль, как его природа. Я говорю о ленинградской природе, имея в виду не только белые ночи и северные сияния, возникающие иногда над ним, и не только Неву, и ветры с залива, и морские туманы. В Ленинграде природой, самой настоящей

¹ Очерки «Вечно юный» и «Ленинский призыв» в книгу «Говорит Ленинград» (1946) не входили.

природой, как бы независимой уже от человека, когда-то создавшего ее, стали его здания, площади, ансамбли, памятники. Улица Зодчего Росси – ведь это уже природа, а не архитектура... Взгляни на Биржу и Ростральные колонны, на которых в честь двухсотпятидесятилетия зажгли в огромных чашах огня, переведи взгляд на строгий и нежный силуэт Петропавловки – разве все это не самая настоящая природа! А наши сады и парки, и старые, петербургские, и совсем молодые парки Победы, посаженные уже нашими руками, – это ведь не только природа, но и архитектура: они *построены*, наши парки, наши улицы-сады – Большой проспект Васильевского острова, Московский проспект... И природа, созданная человеком, благодарно, навечно хранит его душу, его судьбу.

История-судьба Ленинграда неповторима, в особенности потому, что этим городом и в этом городе несколько раз решалась судьба всей нашей Родины.

Рождение города Петра, Санкт-Петербурга, знаменовало собой рождение новой эпохи в истории России. Здесь, в Петрограде, точнее – в Красном Питере, судьба России изменилась еще раз – здесь питерский пролетариат низвергнул самодержавие и, ведомый Лениным и ленинской партией большевиков, совершил Октябрьскую революцию и установил власть самих трудящихся – власть Советов. Мы – Ленинград – называемся колыбелью революции. Колыбелью социалистической революции. На постаменте памятника Ленину у Финляндского вокзала нанесены исторические слова из речи Ильича к питерцам, балтийцам и солдатам: «...И да здравствует социалистическая революция во всем мире!»

А во время блокады мы отмечали двухсотсорокалетие нашего города и, так как враг не в переносном, а в прямом смысле слова стоял у стен Ленинграда, к тому, что я уже сказала выше, мы добавляли: «И вновь судьба всей России в эти дни во многом зависит от нашего города: он является узловым пунктом обороны всей страны».

Мы встречали двухсотсорокалетие нашего города в бою – в тот день был свирепый артиллерийский обстрел города, и наши батареи вели контрбатарейный огонь.

Как пышно был украшен город в дни празднования двухсотпятидесятилетия, и как суров был он в свой праздник в дни блокады, на третьем году своей обороны... Мы не украшали его в годы войны, не сажали новых деревьев, хотя тщательно хранили старые и, замерзая, не позволяли никому срубить ни одного дерева в наших парках и садах, чтобы обогреться. Но наши чудесные парки и сады были превращены тогда в огороды с неуклюжими грядками или отданы под военные нужды – главным образом зенитчикам. На Марсовом поле были сплошь огороды, в центре могил Жертв Революции стояла зенитная батарея, и даже землянки были сооружены около них, и огонек по вечерам мерцал в землянках. Тысячи маленьких голубых парусов украшали Невский в дни празднования двухсотпятидесятилетия, а в праздник в блокаду каждый угол здесь был беспощадно превращен в долговременную огневую точку – не были пощажены даже колонны углового флигеля Дворца пионеров, и даже в подъезде Филармонии была устроена пулеметная точка. Выходя с концерта или идя на него, мы каждый раз как бы проходили через участок переднего края обороны. В гранитных нишах на набережной Невы, в этих каменных излюбленных приютах ленинградских влюбленных, почти сплошь стояли зенитки. Напротив университета в одной из ниш на граните была надпись: «Отомстим за смерть родителей красноармейца Краснушкина!» Эту надпись сделали зенитчики, расположившиеся здесь... И пока ты ехал на трамвае или шел вдоль набережной, ты несколько раз попадал в зону ожесточенного боя, на передний край... Впрочем, все тогда в Ленинграде было зоной боя...

И если историю-судьбу Санкт-Петербурга – Петрограда мое поколение вбирает в свое сознание как нечто полупоэтическое, то уж история-судьба Ленинграда – это *наша* жизнь. Все в Ленинграде – наша жизнь, включая ленинградские памятники. Говорят, памятники обращены к прошлому. Часто Ленинград называют городом-памятником или музеем под открытым небом. Некоторые из сверстников моих усматривают в этом нечто вроде как обижающее Ленинград. Нет! Памятник всегда обращен к будущему – к тем поколениям, которые придут. Чем больше сегодняшней человеческой души вобрал он в себя, тем больше обращен он к будущему, тем правдивее и бесстрашнее может он говорить с ним. И тем

стремительней движется он к будущему. Так, Ленин на броневике, великий человек, чье имя носит наш город, чье изображение видим мы на медали «В память 250-летия Ленинграда», – это памятник вечно движущийся, обращенный к потомкам.

...Осенью сорок первого года, когда гитлеровские банды начали свирепо бомбить и обстреливать Ленинград, памятник Ленину был бережно и надежно обложен мешками с песком и землею, плотно обшит досками.

Высокий, похожий на усеченную пирамиду холм скрыл в себе фигуру Ленина, и броневик, и бессмертные слова, горящие на нем. В страшную и героическую блокадную зиму его заносило снегом – огромный сугроб высился перед Финляндским вокзалом. Но мы знали, что в этом бесформенном снежном сугробе – Ленин на броневике. Он с нами, и рука его выброшена вперед, и он призывает нас к стойкости и победе. И каждый, кто покидал Ленинград, уезжая с Финляндского вокзала – на фронт ли или на Большую Землю (а эта железная дорога была единственной тоненькой ниточкой, ведущей к Дороге жизни, как-то связывавшей нас с Большой Землей), – каждый, прежде чем войти в вокзальное, изрубцованное снарядами здание, оборачивался к сугробу – зимой, к темному земляному холму – осенью, весной и летом, и долгим взглядом смотрел на него, и видел сквозь снег, песок, землю и доски – Ленина, вождя ленинградской обороны. И каждый прибывающий с Финляндского вокзала в Ленинград человек прежде всего поднимал глаза к этому высокому холму или сугробу...

Весной сорок четвертого года, после ликвидации вражеской блокады, когда на свои места и постаменты стали возвращаться ленинградские памятники, самым первым был освобожден из-под укрытия памятник Ленину на броневике. Как множеству ленинградцев, мне не забыть это утро. В то утро пришли сюда не только те, кому была поручена работа – освободить памятник от укрытия, – сотни ленинградцев, переживших блокаду, пришли сюда, чтобы помочь бригаде. И каждый стремился своими руками помочь отодрать – расшить – доски, отгашить, и обязательно подальше, мешки с песком и землею, расчистить и убрать площадку. Доска падала за доской, мешки исчезали с площади – их уносили в ближайшую развалину, и все больше народу толпилось вокруг. И вот он, наш Ильич, человек и гений, чьим именем назван наш город, предстал перед нами в чистом весеннем небе – наверное, как тогда, в Семнадцатом, – на башне броневика, в распахнутом простеньком пальто, со скомканной, наспех засунутой в карман кепкой, с обнаженной головой, с рукою, вскинутой ввысь, – жест призыва и приветия победившим защитникам города. И когда вечно несущийся вперед броневик стал виден весь, на площади вдруг, внезапно, как залп, раздалась полная, торжественная тишина... Но уже через мгновение сменилась радостными возгласами, неистовыми рукоплесканиями, и светлыми слезами, и дружным гулом толпы. И в группе, где я стояла, чей-то голос упоенно запел, вернее – воскликнул, припев «Интернационала», и группа негромко, но дружно подхватила его:

Это есть наш последний
И решительный бой!
С Интернационалом
Воспрянет
род
людской!

Так вновь встречал у Финляндского вокзала своего вождя победивший город, с достоинством, как знамя, пронесший его имя сквозь муки небывалой в истории осады.

В те дни памятник Ленину стоял у вокзала – теперь броневик прорвался к самой Неве. Широкая, светлая, полная воздуха и влажного, нежного дыхания Невы, площадь расстилается вокруг постамента, новые чудесные здания окружают ее. Несколько десятков метров от самого вокзала к Неве – путь физически, в обычном измерении, небольшой, а исторически – гигантский...

...И вот уже четырнадцать лет прошло после «второй встречи» города с Лениным у Финляндского вокзала. И вот уже теперь приходят к ленинскому броневнику не только ленинградцы, не только граждане, приезжающие со всех концов нашей Родины, но и все бывающие в нашем городе делегации стран народной демократии, вступившие на путь социализма, непременно приходят к этому памятнику с цветами в руках, с сердцем, полным любви к Человеку в простеньком пальто, со смятой кепкой в кармане, к вождю мирового пролетариата; приходят дети Болгарии, Чехословакии, Венгрии. Наконец, приходят граждане Германской Демократической Республики – не те немцы, от которых защищали этот памятник, а те, кто идет путем, проложенным на много столетий вперед ленинским броневиком – советским народом, и вместе с ним городом Ленинградом, моим родным городом...

...Так что же выбрать мне, по какому же месту, по какой окраине, по какой анфиладе пройти, чтобы написать о днях юбилея?! Невская застава? Арка Деламота – «Новая Голландия»? Университет? До чего ни дотронься – все твоя жизнь, рядового ленинградца, и кем бы ты ни был, ты прежде всего гражданин города Ленина, – все дорого, все неразделимо с давним днем прошлого, и с завтрашним, и с далеким будущим.

Вот Невская застава – страна детства... Здесь я помню еще Петроград, я помню, как горел полицейский участок и как на амбарах – целая улица из амбаров – было написано узкими белыми буквами: «Ум не терпит неволи», «Не трудящийся да не ест», «Охраняйте революцию», «Кто не с нами – тот против нас»...

Вот Васильевский остров, университет. Это юность. Это первая пятилетка. Это пронизанный прямыми лучами солнца университетский коридор, и первая настоящая любовь, и Маяковский, и ожесточенная работа на субботниках в порту, на погрузке баланса. Баланс – это не бухгалтерия, были просто такие аккуратные белые бревешки. Ужасно их много было – целые кварталы. Мы, студенты, таскали их на плечах без отказа, уж даже не вспомнить, по скольку часов. Но это нужно было для создания фундамента социализма! В чем мы могли отказать ему?! Одновременно с погрузкой баланса и так называемой академической учебой мы еще ликвидировали среди населения неграмотность и готовили «рабочую тысячу» в университет. В группе молодых рабочих, готовившихся в университет, у меня, в общем, все шло благополучно, но мой неграмотный грузчик был нерусский – я не помню, какой он был национальности, но он упорно не мог выговаривать, а значит, и писать букву «ф», и я из-за этого не могла считать его грамотным! Комсомольское поручение провалилось из-за буквы «ф»! Позор!

А Кировский завод – он тогда был «Красный путиловец», – где я проходила первую практику в механосборочном цехе! Это было в 1929 году, в «Особом квартале», и в начале тридцатого года, когда завод только что приступил к серийному выпуску советских тракторов «Фордзон-Путиловец».

Я была на практике в многотиражке механосборочного цеха, в так называемой «штурмовке». Наша многотиражка так и называлась: «На штурм 25 тысяч» – завод обязался дать стране ко второму большевистскому севу первые 25 000 тракторов. Кроме меня, в этой штурмовке работали писатель Михаил Чумандрин, поэты Александр Безыменский и Иосиф Уткин. Поэты были москвичами, но они приехали на «Путиловец», потому что глаза всей России были устремлены на него, на ленинградский революционный завод, который должен был дать поднимающейся к новой жизни деревне новое, небывалое в России орудие производства – трактор, как дал уже лучших своих коммунистов в армию двадцатипятидесятников, организаторов и вожаков коллективизации.

Московские поэты, так же как и сотни тысяч трудящихся Советского Союза, стремились посылить помочь «Красному путиловцу»...

Наша писательская бригада не уходила из цеха, с завода целыми днями, а иногда ночами, а часто и сутками! Тот суровый подъем, то, как я знаю теперь, боевое ожесточение, с которым трудился коллектив завода над выпуском «Фордзон-Путиловцев», или, как их называли на заводе, – «Федор Петровичей», не мог не захватить, не мог не передаться нам,

не мог не вызвать жажды отдать все силы на выполнение плана выпуска тракторов.

Не все удержала память из времени того, бурного, полного событий, за которым потом была еще целая жизнь. Но помню до сих пор, как секретарь партячейки механосборочного цеха болгарин Тодоров проводил беседу с рабочими.

– Ребята, – говорил он, – вы должны понять, ведь земля круглая! Она очень круглая, огромная, – он показывал руками, какая круглая земля, – и вот на этой огромной круглой земле скоро начинается сев. И по этой круглой земле должны пойти наши трактора, вы только поймите, что мы должны с вами сделать, как мы этой круглой земле должны помочь!

Его иссиня-черные глаза страстно блистали, и слова его о круглой земле никому не казались смешными или хотя бы странными – наоборот, широкие, округлые движения его больших рук (он весь был большой, жгуче-черный, стремительный), его настойчивые повторы о круглой земле возбуждали у ребят смутное и волнующее представление о действительной сферичности и громадности нашей Родины, и неосознанно каждый чувствовал себя немножечко богатырем – великим русским пахарем Микулой Селяниновичем, способным перепахать целую планету...

Секретарь цехячейки заканчивал свою речь патетической укоризной, перефразированной, в силу неполного знания русского языка:

– Вот! А вы здесь яблоки околачиваете!

– Груши, – виноватым голосом поправляли его ребята.

– И груши тоже, – соглашался Тодоров.

Он был не прав: «ребята» – и молодые, и старые кадровики-путиловцы – всю душу отдавали созданию машины-богатыря; просто это ведь было внове, это первый раз за всю историю России налаживался массовый выпуск тракторов, было много неполадок, недоумений, брака, наконец, неумения просто – отсутствия опыта! Но «ребята» беззаветно, по суткам, по несколько суток не выходили с завода, болели за страшный, доходивший до 90% брак новолитейной, которая от дедовских способов литья тоже перешла на конвейерный способ, азартно соревновались, устанавливали «боевые посты», «легкая кавалерия» непрерывно совершала рейды в глубокие тылы слабых участков.

Наша штурмовка, наши рабкоры не отставали от общего подъема. Наоборот, они опережали его и... иногда, по молодости и свойственной ей беспощадности, перегибали. Однажды у нас возник план: остаться в цехе на ночь, выявить и затем заклеить злостных лодырей, срывщиков плана. Мы так и сделали. Мы даже глубокой ночью, когда цех все так же напряженно гудел и звенел, прошли с фотоаппаратом в женскую уборную и обнаружили там спящих работниц. Неудобно приткнувшись на подоконнике, обхватив друг друга, склонив голову к голове, они спали. Спали в то время, когда нужно было подавать детали на сборку! Мы тотчас засняли лодыриц. То же было обнаружено и в мужской уборной, и там тоже был сделан снимок. Утром мы с торжеством показали Тодорову наши трофеи, уже стоявшие в полосе штурмовки, готовой для отправки в типографию. Он долго глядел на фото! Он упрекал «ребят» в том, что они околачивают груши и яблоки, он был не прав, и он знал об этом. Он сказал нам:

– Этих снимков помещать не надо, ребята.

Мы изумились.

– Почему?! Они спят, спят в то время, когда...

– Они очень устали, ребята, – тихо сказал Тодоров. – Они очень много работали и очень-очень устали. Нельзя обижать человека, уставшего после работы... Они устали. Порвите эти фотокарточки, товарищи писатели.

И не слова секретаря цехячейки (подумаешь, устали, – тоже «объективная причина»), а его интонация, по-особому глубокая, грустная и мудрая, внутренне убедила нас в его беспорной правоте...

Были белые ночи, ночи второй большевистской весны...

О, Ленинград, Ленинград, посылавший в эти ночи на поля страны первые свои тракторы и первых своих двадцатипяти тысячников, Ленинград первой пятилетки, когда

каждый из нас как можно чаще старался произнести слова «тяжелая индустрия»! Она была воистину тяжелой, но каким светом осталась она в сердце! А потом в жизнь мою вошла Московская застава – завод «Электросила», готовивший первые в СССР сверхмощные генераторы для Днепрогэса, для Свири, электропривод для первого блюминга, электромоторы для Донбасса. Я в это время работала там редактором комсомольской страницы заводской многотиражки, агитатором и пропагандистом, историком завода... Вы думаете, что я похваляюсь жизнью моей?! Конечно, да! А что бы я была за ленинградка, если бы не хвалилась единой жизнью с городом? Мы все этим хвалимся.

В той Главной книге, которая все еще впереди, но которую я обязательно напишу, будет очень много Ленинграда, будет много «Электросилы», много ее людей. Я в таком долгу перед ними – но долг этот радостен и светел, и с сознанием его легче жить. Среди многих электросиловцев я должна, например, написать о дяде Леше – Алексее Семеновиче Федине, моем крестном отце по партии... Могучий, высокий плотный старик с пышными запорожскими усами, старый забастовщик и пикетчик, старый красногвардеец, создатель одного из первых ФЗУ в Ленинграде – таким я встретила его, когда впервые пришла на «Электросилу». Мы хорошо дружили, он много важного и ценного рассказал мне для истории завода. Я видела его последний раз на заводе в феврале 1942 года, в один из самых страшных месяцев блокады. Его замечательные запорожские усы обвисли, лицо стало прозрачно-одутловатым, с нехорошими зеленоватыми тенями у глаз и на висках. Но он бродил по полумертвому заводу, охраняя его, – он был на казарменном, в команде МПВО.

– Дядя Леша, – сказала я ему, – тебе бы ведь в стационар надо...

– Нет, – ответил он, тяжело отдуваясь и со свистом дыша. – Лучше, Ольга, умереть стоя, чем жить лежа. Я так полагаю.

И он умер стоя – на дежурстве в команде противовоздушной обороны, на защите родного завода.

...Я, наверное, так и не доберусь до юбилейных фраз. А ведь я еще не написала, например, о ленинградских станках, выпущенных в честь 250-летия города, станках-великанах, станках, рождающих станки. Не написала и о том, что наш город стоит у моря, а море в конце Большого проспекта Васильевского острова – до него можно доехать на трамвае. Это, конечно, всем известно, но не знаю, как кого, а меня это всегда удивляет и радует. Наш город – морской, наш город у моря, первая русская морская победа была одержана здесь, и Петр Первый в честь ее приказал выбить медаль с надписью: «Небываемое бывает». И так естественно, что Балтийский завод в честь 250-летия города построил новые корабли: ведь наш город – это город-кораблестроитель.

А сколько кораблей в эти дни стоит у причалов нашего порта! «Все флаги в гости будут к нам». Что же, добро пожаловать! Посмотрите на Ленинград – «музей под открытым небом», на колыбель революции, на город-герой. Смотрите на него и внимайте ему с открытым и чистым сердцем, с таким, как у него. Он ничего не утаил от мира. Все его радости, страдания, победы – у всех вас на виду. Он рад поделиться с людьми всем материальным и духовным богатством, которое завоевал такой великой кровью, таким трудом и такой честностью.

У Ленинграда, города-героя, города-человека, города-коммуниста, прошлое, настоящее и будущее слиты, и все обращено к будущему. Каким он будет, Ленинград будущего? – спрашивают меня. И я хочу ответить: прежде всего таким, как теперь, – с его историей, с его природой, с его характером, с его сыновней преданностью Родине. Он есть и будет прежде всего колыбелью революции, и это и есть будущее.

...Я часто бываю за Невской заставой, в стране детства, хотя уже и не живу там. Я была там недавно. Как она изменилась, как много новых домов там, где были болота и плавали гуси, какие высокие новые строения возникли там, где был отчий дом, разбитый снарядами, а потом просто пустырь...

Все сызнава – и все на пустыре,

и все на той же розовой заре,
незябнущей, огромной и дрожащей:
и эти угловатые дома,
и взлеты вдохновенья и ума,
и рощ нагих младенческие чащи...

И радостно, и почему-то в глубине сердца чуть-чуть грустно от этих изменений. Почему? Потому что у меня, человека, жизнь уже сокращается, а он, город, наоборот, идет к вечной юности, к расцвету. Вот так подумалось. Но тут же возникла другая мысль: да, но все мои радости, все горести, весь труд – и не только мои, а и дяди Лешки, и Годорова, и сотен тысяч других – ведь это же все останется в нем, как остались жизнь и труд предыдущих поколений и отдельных людей. Значит, ничто не исчезнет. Значит, пока стоит Ленинград, вечно будут живы те, кто его любил, кто вложил в него жизнь и веру...

Июль 1957

Ленинский призыв

СКАЛА ЛЮБОВЬ. И у меня, как у всех нас – у всех советских людей, есть «мой Ленин», и в разные периоды нашего неукротимого времени он предстает душе по-разному; это потому, что он давно уже стал неотъемлемой частью сознания и входит в его непрерывное движение.

И у меня был почти сказочный, добрый и грозный Ленин детства; Ленин отрочества, самоотрекающегося во имя Революции, романтической, еще сплошь взошедшей на поэзии; Ленин юности, когда казалось, что ты в силах воплотить эту Революцию – ленинские заветы – хоть завтра, и мы действительно, как умели, воплощали ее в бурные годы первой пятилетки; Ленин времен Великой Отечественной войны и трагедийно-победоносной ленинградской блокады; Ленин сегодняшнего дня...

О каждом «моем» Ленине я могла бы писать очень много. Кроме того, мне кажется, что не только душевное состояние человека определяется тем или иным его отношением к Ленину, тем или иным образом его, царящим в душе, но что и характер самого времени, точнее – того или иного периода нашей эпохи, тоже в значительной мере определяется отношением к Ленину, к его высоким заветам, к его нравственно-политическому кодексу. Но это особая, очень большая тема.

Я не знаю, как назвать свое отношение к Ленину... Любовью? Нет, пожалуй, это сложнее и значительнее любви, хотя она, разумеется, входит в непрерывно меняющееся, обогащающееся восприятие Ленина как незыблемая основа. Это – скала Любовь. Но раз я о ней заговорила, то должна хоть бегло рассказать эту полулегендарную историю (в дальнейших веках она станет одной из любимейших легенд человечества – я уверена в этом!) – историю, все-таки существующую на самом деле, поразившую меня несколько лет назад и до сих пор все более пленяющую воображение как основа будущей поэмы. Она так и должна была называться – «Скала Любовь», и желание написать ее было одной из главных причин, заставивших меня в январе 1952 года отправиться в командировку на Волго-Дон, где ожидалось начало шествия Дона к Волге, а накануне поездки зайти к Глебу Максимилиановичу Кржижановскому.

Я писала уже о встрече и беседе с этим замечательным человеком, но встречи с такими удивительными людьми неисчерпаемы на долгие годы: кажется, вот уже все рассказал о них, но проходит время, и заново их вспоминаешь и вдруг делаешь совершенно новое духовное извлечение для себя, для работы, для беседы с друзьями.

Так вот, я пришла к Глебу Максимилиановичу, на ту квартиру, где в дни гражданской войны и разрухи создавался план ГОЭЛРО, и после обмена первыми приветствиями сказала, что послезавтра еду на Волго-Дон.

– Понимаю, – воскликнул он с живостью, – вы зашли ко мне узнать о проектной мощности Волго-Дона, о его перспективах.

– Нет, Глеб Максимилианович, – ответила я, – я попросила бы вас рассказать мне о Ленине, потому что в будущей моей поэме я хочу много написать о нем.

Извинившись за свою несомненную беспомощность в области технической терминологии, я тут же вкратце изложила Кржижановскому суть поэмы.

– Дело в том, – сказала я, – что ведь до сих пор все гидростанции в мире строились на скальном основании, на материковой скале. На такой скале стоит и Днепровская гидростанция имени Ленина – Днепрогэс. С незапамятных времен скала эта носит имя Любовь. В сорок первом году, в дни горестного нашего отступления, нам пришлось демонтировать Днепрогэс. Несколько товарищей с «Электросилы» – среди них те, которые в свое время строили для Большого Днепра первые сверхмощные советские генераторы, – отправились на этот демонтаж, будем говорить прямо – на взрыв Днепрогэса. Они вернулись в состоянии такого ожесточения, при котором невозможны ни слезы, ни растерянность, но сердца их кровоточили; своими руками взорвать то, что с такой верой строили в молодости, – это надо пережить, а они «демонтировали» на совесть. Но скала Любовь не шелохнулась, ни одного каменного осколка не отлетело от скалы... Через два года, отступая, фашисты старались взорвать Днепрогэс так, чтоб не оставить камня на камне. Они тяжело, варварски разрушили станцию. Но скала Любовь не шелохнулась! Ведь это была материковая скала, ведь недаром на нее опиралась, была заложена в ней гидростанция имени Ленина. И вот теперь я узнала, что волжские гидростанции, впервые в мире, строятся не на скальном основании, а на мягких, полускальных грунтах, которые, однако, люди укрепляют так, что они не уступают материковым скалам – основе земли. И я хочу написать о том, как наши люди – ленинцы – научились создавать скалу Любовь. Не в техническом смысле, конечно, не про то, как стальные шпунты в грунт вгоняли, а более широко – как души свои клали в скалу Любовь, в опору света и силы для всего мира, – вы понимаете, Глеб Максимилианович?

– Ну еще бы, еще бы! – воскликнул он и негромко, почти застенчиво прибавил: – Я ведь тоже стихи пишу...

– Ах, простите, – ахнула я, вдруг сообразив, что передо мной автор неувядающей «Варшавянки» – поэт. – Затмение нашло!

– Ничего, ничего, – ответил он. – Дело в другом: дело в том, что опыт создания скалы Любовь у нас давний. Ведь Свирская-то гидростанция не на скальном основании построена, а на этакой глиняной подушке – американцы за это не брались, пророчили, что все рухнет, но наши взяли, и вот, видите, Свирская до сих пор стоит. И вот тот опыт был действительно первый в мире, и вот это была, по существу, истинно ленинская, бесстрашная идея! А что касается Владимира Ильича... Я вам его сейчас покажу. – Он сосредоточенно, почти важно подошел к невысокому книжному шкафчику, бережно, в обе руки, взял небольшой, но, видимо, тяжелый бюст Ленина и, неся его на вытянутых руках, шаркая, мелкими шажками подошел к столу и поставил передо мной этот бюст.

– Вот он какой был, – промолвил он почти шепотом и очень строго. – Глядите.

Я, к сожалению, не помню автора этой скульптуры. Но передо мной тоже был «мой» Ленин. Скульптура была из очень светлой, даже словно бы светящейся, но не блестящей бронзы, ее поверхность была неровна, шероховата, выполнена почти щипками – она явственно хранила следы лепки, неостывшего волнения, и это придавало ей особую живость, подлинную трогательность. Необычен был и облик Владимира Ильича, особенно для того времени: из бронзы глянуло на меня из-под небрежно надетой кепки, из поднятого воротника не непреклонное лицо вождя, а озаренное хитровой, почти озорной улыбкой, подчеркнутое умнейшей прищуркой лицо русского мастерового, вечного труженика, неустанного умельца Революции, бесстрашного землепроходца, лицо хорошего, простого человека, – глянули, как писал о нем Горький, «глаза неутомимого охотника на ложь и горе жизни».

И пока мы с Глебом Максимилиановичем сидели за столом и почти до утра

рассказывал он мне о Ленине – его изображение так и стояло перед нами, излучая теплый, живой свет, народный ум, добро и бесстрашие, и вот с таким Лениным в сердце я и приехала на Волго-Дон, а так как это было как раз в ленинские дни, то на Волго-Доне много пришлось говорить о Ленине – с рабочими, инженерами, строителями – не на собраниях, а просто беседуя. И я с радостью убеждалась, что и им светит такой же Ленин, как мне, что образ его, его заветы помогают им строить скалу Любовь, преодолевая все физические и моральные испытания. И я – в который раз! – с гордостью и отрадой думала, что самое драгоценное, что оставил нам Ленин, – это люди, составляющие его Партию, – коммунисты, большевики, люди, как он говорил, способные на «победоносное терпение» и на величайшее бесстрашие, люди его призыва. Я хочу кратко рассказать о некоторых из них, о тех, кого знаю лучше и ближе всех, – о людях города Ленина в дни его осады.

* * *

Я ЗНАЮ ДОРОГУ. Писать было неудобно: овчинный дворницкий полушубок, который вчера с торжеством преподнес мне мой приятель, совершенно не позволял рукам шевелиться, и все равно пальцы коченели. Карандаш был жесткий, и плохо писалось им по шершавой типографской бумаге, а чернилами писать было нельзя – чернила замерзали. И я решила, что здесь, дома, хоть как-нибудь карандашом набросаю эту рождественскую радиопередачу на противника, а уж в радиокомитете, где потеплее, перепишу ее начисто, а может быть, удастся сразу продиктовать ее машинистке.

«Ты встречаешь рождество Христово, немецкий солдат, корчась под Ленинградом от жестокой стужи, обмораживая себе конечности», – писала я и ежеминутно дышала на пальцы. В это время в дверь постучали.

– Войдите, – удивилась я, и вошел Иван Павлович, политработник одной из ленинградских армий, той, что стояла за Невской заставой, на родине моей, где я с группой артистов месяца полтора назад, накануне Октябрьских дней, выступала в концерте – читала стихи.

Он вошел, как входят в комнату, где лежит тяжелобольной, – почти на цыпочках и не сказал «здравствуйте», а просто сел напротив и уставился на меня молча. Я не подумала о том, что вид у меня, конечно, нелепый – в дворницком полушубке, в вязаной шапке, натянутой до самых ушей, а из-под полушубка виднеются еще ярко-красные лыжные штаны, – я просто удивилась, что он так сидит, смотрит и молчит. Я просто через несколько минут задала ему вопрос, который уже задавали друг другу ленинградцы в конце декабря сорок первого года:

– Вы что... не в форме, Иван Павлович?

Он отрицательно качнул головой, сделал судорожный глоток и, видимо справившись с собой, сказал с чрезмерным спокойствием потрясенного человека:

– Я просто не был в городе с конца октября. Я иду в Смольный. Я шел почти все время – от Лавры... Я... я видел все... Ну... и по пути зашел к вам... узнать – а вы-то живы?

Заход ко мне на улицу Рубинштейна был совсем не «по пути» к Смольному, но я поняла его.

– Мы были у вас в армии впятером, – сказала я. – Я жива, и певица тоже.

Мы помолчали и вдруг одновременно взглянули в глаза друг другу так, как смотрят люди, которые все до самого конца знают и понимают, что каждый из них знает все до конца.

И вот, взглянув так в глаза друг другу, мы заговорили о самом главном – выдержит ли город и что делать каждому из нас, коммунистов, чтоб он выдержал.

Это был разговор медленный, негромкий, как будто бы мороз, царивший в комнате, мешал ему быть взволнованным, – а вернее всего, это были раздумья вслух двоих людей, видящих друг друга второй раз в жизни, но доверяющих друг другу всецело, потому что они – члены одной партии, Коммунистической партии большевиков.

Он рассказывал среди другого о своем первом бое.

– ...Мы оказались прижатыми к земле этим ураганным огнем, – рассказывал он. – А надо во что бы то ни стало продвинуться вперед и занять намеченный участок – иначе сорвется вся операция. А бойцы – первый раз под огнем... Я, понимаете, собственной кожей чувствую, как они жаждут уйти в землю, как они плотно прижались к ней – потому что ведь и я, я тоже прижался... И еще чувствую: еще немного – встанут и побегут назад. И знаю, что надо подняться, и что-то крикнуть, и повести, и – не могу подняться! Не могу. Ужас меня охватил: что же это я – я же коммунист. Если я не могу встать – то как же они? И вот от этого ужаса я приподнял голову и пополз к ближайшему бойцу. Тот синий лежит от страха. Огонь бушует. Я шепчу ему на ухо: «Что, товарищ боец, страшно?» – «Ой, страшно, мочи нет, товарищ политрук». – «Ничего, говорю, товарищ боец, мне тоже страшно, тоже, но ты видишь – я ведь лежу, не бегу. И ты не беги. Побежишь – убьют! Лежи пока». И так, от одного к другому, и удержал их. Перележали мы первый страх и поползли вперед.

– Но были минуты еще рискованней, – рассказывал он потом. – Часть наша дивизию при отходе прикрывала. И вдруг отсекли нас немцы от своих. И оказались мы в болоте, в диком месте, лесном, глухом. А почти все бойцы – народоополченцы, горожане, первый раз в жизни в такую прорву попали, местности никто не знает. Ну, почти паника началась – куда идти? Растерялись, кричат, разумеется: «В окружение попали!», «Пропадем!» Командир кричит: «Кто дорогу знает?» Никто дороги не знает! Еще больше паника. Нехорошо, некрасиво. И тут у меня сердце не выдержало, я выскочил вперед да как закричу: «Я знаю дорогу. Я здешний!»

Иван Павлович передохнул и устало улыбнулся.

– Я не знал дороги, как и они, и здешним не был. Но я не врал, не обманывал – нет. Я вдруг понял – в этот момент должен быть среди них человек, знающий дорогу, должен – он необходим был всем. И я назвал его им. И они сразу поверили мне, сразу успокоились, подтянулись; и это полное людское доверие и собственная дерзость воодушевили меня, напрягли во мне все силы и способности, такие, о которых я сам не подозревал. Я вел их и вывел к своим.

«Я вел их и вывел к своим», – сказал Иван Павлович... И тут просит рассказа другая ленинградская история.

* * *

ЕГО ПРИЗЫВ. Когда Милютин и Славнов вынесли из комнаты восьмого человека, умершего за этот месяц, и остались только вдвоем, Славнов сказал:

– Милютин, а лучше бы нам с этой комнаты съехать, пока живы. Правда. Несознательно, конечно, но... чего-то бояться я ее стал...

– Это, конечно, несознательно, – ты прав. Это предрассудки, суеверие – понимаешь? – быстро заговорил Милютин, как всегда ошарашенный возможностью что-то кому-то разъяснить. – Говорят, на войне это бывает, но я лично поддаваться этому не намерен. И даже – хочешь – нарочно лягу на койку Смирнова.

Смирнов был тот рабочий, которого они вынесли сегодня; он умер, как и все предыдущие, на этой самой койке, стоявшей у печки.

– Ну-ну, зачем же это? – испугался Славнов.

– А просто чтоб ты не нервничал. Ведь это война – война нервов, ты понимаешь? В самом деле, я займу эту койку.

– Не надо, – угрюмо произнес Славнов. – Я... пошутил. Я понимаю, что это не от комнаты.

– Вот и хорошо, что понимаешь. И не от комнаты и не от койки! Знаешь, ведь главное – это понять, тогда ничего не страшно.

И костистое большеглазое лицо Милютина просветлело, как всегда, когда ему удавалось что-то разъяснить. А Славнов, исподлбья глядя на него, только покачал головой.

Чем дальше жил он бок о бок с Милютиним, тем больше удивлялся этому человеку, который в свое время невольно, но глубоко огорчил и обидел его.

Они оба, еще до войны, работали на одном ленинградском заводе, Милютин – культпропом парткома, Славнов – мастером-обмотчиком в цеху. Ивану Ильичу Славнову было уже за пятьдесят, и жизнь его – и внешняя, и внутренняя, духовная, семейная, общественная – достигла к этому времени такого плавного и благополучного течения, что доставляла только одно удовольствие.

Его сын Вова заканчивал институт, миловидная и свежая Нюша – жена – вела дом «полную чашу», сам он был заслуженно и глубоко уважаем на заводе – о нем писали в газетах, всегда выбирали в президиумы торжественных общезаводских собраний; красивый, очень подмолженный портрет его висел и в заводском скверике на Доске почета, и, написанный настоящим художником, – в заводском дворце культуры. И Иван Ильич был так доволен жизнью, своей работой и собой, что стал все чаще подумывать – не вступить ли ему в партию? Вступление во Всесоюзную Коммунистическую партию большевиков казалось ему каким-то завершающим, закругляющим – солидным и достойным поступком в его жизни. Мысленно он уже представлял, как его будут принимать в партию, что будут говорить, и улыбался.

Как раз в это время и подошел к нему Сергей Петрович Милютин – культпроп парткома, высокий, сухошавый черноволосый человек с удивительно доверчивыми большими глазами и с какой-то еле уловимой, но все же уловимой суетой в движениях, точно он все время куда-то спешил. Милютин поговорил с мастером о том, о сем и потом сказал:

– Иван Ильич, а как ты относительно вступления в партию? Мы думаем, что это хорошо было бы, а?

И вдруг Ивану Ильичу стало очень неприятно, что кто-то за него, солидного, самостоятельного, всюду уважаемого человека, уже поторопился обдумать этот важный для него вопрос, да и не только обдумал, но даже решил за него, как за мальчишку.

– Я подумаю об этом, товарищ Милютин, – ответил он очень сухо.

Через несколько дней Милютин снова подошел к Славнову.

– Ну как, Иван Ильич, надумал? – спросил он. – Дать анкетку?

– А что ты спешишь-то так? – уже не скрывая досады, сказал мастер. – Я человек самостоятельный... Я пятьдесят лет беспартийный и был не хуже других.

– Конечно, не хуже, – слегка растерялся Милютин и засуетился на месте. – Не хуже! Но все-таки...

– Что – «все-таки»?! – раздраженно перебил Славнов. – Все-таки не такой, не тот человек, что ли?

– Да, – уже совершенно твердо ответил Милютин. – Но ты извини, товарищ Славнов, если я чем-нибудь задел твое самолюбие. Мы, наверно, действительно поспешили.

О партии с Иваном Ильичом больше никто не заговаривал; старый мастер сердился на Милютину, еще больше – на себя, думал, как же ему теперь быть, – а тут вдруг началась война. В одну из первых бомбежек прямым попаданием был разрушен дом, где жили Славновы, под развалинами дома погибла жена Славнова; сын Вова, добровольцем ушедший в армию, был убит под Стрельной, а поздней осенью Славнова, вместе с группой заводских рабочих, отправили с родного завода, из-за своей заставы, где он жил всю жизнь, в «тыл», на Выборгскую сторону, на чужой, небольшой завод. Свой завод остановился, на нем осталась лишь маленькая группа рабочих для его боевой охраны.

Гибель жены и сына и, вместе с ними, исчезновение с лица земли всей прошлой долголетней жизни, переезд на чужую окраину – образовали в душе Ивана Ильича сосущую темную пустоту, какое-то постоянное недоумение. Он работал, как всегда, добросовестно, не по специальности, конечно, и все не нравилось ему на новом месте, все тяжело томило его, а каждое напоминание о прошлом причиняло острую боль. И он даже сморщился, и точно само сердце сморщилось в нем, когда в комнате, где он жил при заводе вместе с одним

«чужим» рабочим, на третьей койке поселился Милютин. Славнов не забывал тяжелого, неловкого разговора о партии: Милютин раздражал его, бередил, вызывал глухую, непреходящую неприязнь. Но чем дольше жили они бок о бок, сведенные блокадой, чем внимательнее приглядывался мастер к обидевшему его человеку, тем больше удивлялся ему.

Бедствия зимы нарастали. По самому себе Иван Ильич чувствовал, как люди – уже невольно – начинают все больше и больше беречь свои физические и душевные силы. А Милютин в это время, наоборот, как будто бы придумывал себе все новые заботы и обязанности – вот как сегодня хотя бы: утром в столовой ввязался в страшный женский скандал, последним в очереди не хватило хлеба, и Милютин уговаривал их, мирил, бегал за них браниться с работниками столовой, возил на себе хлеб и, вернувшись домой, усталый и страшный, только затем, чтобы успокоить нервы Славнова, решил занять ту самую проклятую третью койку, с которой, как ты там ни ссылайся на предрассудки, пока еще никто не вставал.

– Я удивляюсь тебе, товарищ Милютин, – все-таки произнес вслух Славнов. – Почему ты такой беспокойный? Мало тебе твоих нагрузок? То мои нервы успокаиваешь, то в бабский скандал лезешь. Разве это все – твое дело?

– А как же? – удивился Милютин. – Ведь я же коммунист, так? Если не я – так кто же?

Бедствия зимы нарастали – наступил уже январь 1942 года. Цех за цехом, станок за станком останавливались и на этом заводе. Все меньше людей приходило на предприятие, но даже и им нечего было делать. Страшное чувство безысходности подкрадывалось к людям. На заводе работала только одна котельная, вернее – один котел в ней еле теплился, но и он готов был остановиться: замерз водопровод, иссяк уголь. И вот Милютин, собрав горсть регулярно ходивших на завод рабочих-кадровиков, горячим полупотом объяснил им, что никак нельзя дать остановиться котлу – никак нельзя! Котел подает пар – тепло в несколько комнат при заводоуправлении, там можно поселиться всем, кто еще не находится на казарменном и живет далеко от завода, котел может дать тепло в один цех и даже привести в движение пару-другую станков, «а ведь мы можем получить срочные военные заказы – пусть небольшие», – нельзя дать потухнуть котлу, нельзя.

Так все, что было живого на заводе, как кровь к сердцу, прилило к этому единственному котлу. Руками из проруби на Неве люди носили в котел воду; разбирали, кололи и пилили все деревянное на дворе, чтобы питать котел топливом. И сердце завода билось – котел пыхтел, а люди жили около него, и жизнь их имела смысл и даже перспективу: хоть что-нибудь делали они («и ведь заказ могут дать!»), а горсточка ценнейших кадров сохранялась. И мастер Славнов с уважением подумал о том, что все это придумал и организовал суетливый Милютин, который вместе со всеми таскал в котел воду и колол деревянные модели.

А Милютин, кроме того, почти каждый день ходил в райком партии, а райком очень часто посылал его проводить беседы и доклады на разные объекты, иногда за несколько километров от завода. Трамваи давно не ходили, Милютин совершал свои походы пешком.

«Вот уж это зря, – думал Славнов, все больше тревожась за своего беспокойного товарища, – ну разве людям теперь до докладов? Зря только изводится».

– Ты упадешь в дороге, – сказал однажды Славнов Милютину. – Ты присаживайся хотя бы, отдохай.

– Нет, – сказал Милютин. – Я тщательно избегаю делать это. Уж пошел – так иди. И, кстати, я еще очень прилично хожу.

А через несколько дней – это было в январские, в ленинские дни, – идучи куда-то, Иван Ильич увидел Милютину на набережной: Милютин сидел на ящике с песком, прислонившись спиной к стене дома; лицо его выражало крайнее изнеможение и самое откровенное страдание. И Славнов до оцепенения смутился, увидев Милютину таким, как бы поймав, как бы уличив его в чем-то постыдном, и растерянно остановился возле него, уверенный, что Милютин тоже ужасно смущен, готовый крикнуть: «Ничего, ничего! Это вижу только я!» Но Милютин спокойно и доверчиво взглянул на старого мастера и сказал:

– Помоги мне подняться, Иван Ильич. Я сам не смогу.

Славнов помог ему подняться с ящика и пробормотал:

– Я пойду с тобой на твой доклад, мне все равно нечего делать.

Собрание происходило в подвале, в бомбоубежище, потому что район, куда пришли Славнов и Милютин, в это время подвергался артиллерийскому обстрелу. Народу было довольно много: в те дни, как ни странно, люди особенно охотно шли на всякие собрания, ища случая побыть вместе и надеясь услышать что-нибудь о перемене в своей участи и в войне – о хлебной прибавке или хотя бы о маленькой победе. Собравшиеся сидели на скамейках под низкими сводами, а своды были подперты множеством нетолстых белых бревен; люди сидели как бы в какой-то подземной безлиственной роще, еле озаренные дремучим светом единственной «летучей мыши». Их ввалившиеся глаза немедленно с надеждой и доверием обратились к докладчику, как только он вошел в подвал.

– Дорогие товарищи, – начал доклад Милютин. – Мы отмечаем восемнадцатую годовщину со дня смерти нашего великого вождя Владимира Ильича Ленина в те дни, когда город наш переживает известные трудности...

И вздох – глубокий общий вздох, близкий к стону, – промчался по подземелью, по безлиственной роще столбов, и дрогнуло сердце старого мастера Славнова, когда он услышал это трижды знакомое до войны слово «трудности». Безграничное целомудрие мужества заключалось в том, что нечеловеческие муки, которые все переживали, Милютин назвал обыкновенным, довоенным, старым словом «трудности». И так как он сам был такой же, как все здесь, – страшный и голодный, он имел право на это слово, и все поняли и ощутили это – и в нем, и в себе, – оттого и вздохнули... Но главное было не в том, что Милютин принес эти обыкновенные слова сюда в разгар артобстрела, в подвал, что ленинские дни отмечались, как всегда. Нет! Самое главное было то, что в осажденном Ленинграде были люди, позаботившиеся об этом.

И глядя на исхудавшее лицо Милютина, мастер Славнов первый раз отчетливо понял, что вот на таких Милютиных и держится в городе жизнь: это они говорят сейчас о Ленине в темных подвалах, в обледеневших учреждениях с людьми, жаждущими сойтись вместе. Это они собирают людей около котлов на остановившихся заводах, около кипятильников – в жактах. Это они не дают опускать людям руки, погрузиться в бездействие, то есть в смерть. И пока в городе есть эти люди – город не только выдержит все, но обязательно, обязательно победит.

Через два часа Славнов и Милютин возвращались обратно, к своему котлу. Мороз был таким свирепым, что трудно было говорить, но Ивану Ильичу не терпелось задать Милютину ряд вопросов.

– Сергей Петрович, – спросил он, – вот ты говорил в докладе: «Мы, большевики, в девятнадцатом году», – ты, что же, почти с самой революции в партии?

– Нет, я не с девятнадцатого, – ответил Милютин. – Я говорил «мы» в смысле «мы – партия». Ведь поскольку я член партии, я полагаю, что вся ее история – как бы и моя личная жизнь, и поэтому я...

– Милютин, – перебил его Славнов, только сейчас додумав одну глубоко взволновавшую его мысль, – вот я глядел на тебя все время и удивлялся, что тебя на все хватает. А ведь это в тебе не просто человеческое, что ли, – ну вот то, что только твое, – это в тебе вся партия сидит, это она тебя движет. Понимаешь? Нет! Ты этого не понимаешь, это я понимаю. Но ты с какого же года большевиком?

– Я – ленинского призыва, – тихо, с мягкой важностью ответил Милютин. – Тогда очень много народу в партию вступило. В особенности же рабочего класса. Было очень большое горе – смерть Владимира Ильича, партии трудно стало, вот мы и вступили – ты понимаешь?

– Понимаю, – так же тихо ответил мастер и, помолчав, важно, переходя вдруг на «вы», спросил: – Товарищ Милютин, а вы мне дадите рекомендацию для вступления в кандидаты ВКП(б)? – Он помолчал и произнес полностью: – В кандидаты Всесоюзной

Коммунистической партии большевиков?

– Конечно, товарищ Славнов, – неторопливо и тоже переходя на «вы», ответил Милютин, – и даже сам подготовлю вас...

Милютин ни звуком не напомнил Славнову о прошлом разговоре насчет партии, и Славнов был глубоко благодарен ему за это: он сам ощущал огромную разницу между тогдашним своим состоянием и теперешним: если до войны он чувствовал, что, пожалуй, он может вступить в партию, то теперь он чувствовал, что не может не вступить. Не может потому, что Милютину трудно и он, Славнов, должен разделить с ним его великий труд – так велит ему совесть, совесть трудового человека, который не может сложа руки глядеть, как другие работают. Не может потому, что ему хочется ощутить в себе всю ту особую силу, которую дает каждому отдельному коммунисту вся партия. Не может, наконец, не вступить потому, что прошлая его жизнь погибла, а он хочет жить полной, деятельной жизнью, хочет отдать во имя победы все свои силы – а партия большевиков требует всех сил. Не часть сил, а именно – все, всю жизнь.

Долгими зимними вечерами при свете коптилки мастер Иван Ильич Славнов внимательно читал Устав и «Краткий курс», но больше всего он беседовал с Милютинным – задавал ему разные вопросы о партии и коммунистах. Он спрашивал несколько витиевато и туманно, потому что не хотел, чтоб Милютин счел его за несознательного мальчишку, который сам ничего в жизни не думал и ничего не знает. А Милютин был просто счастлив, что может столько важного разъяснить человеку, и разъяснял с жаром, с сердцем, в то же время не обижая мастера излишней простотой объяснений. Особенно запечатлелся мастеру Славнову ответ Милютина на его вопрос – как точно понимать выражение, которое часто употребляют коммунисты: «Это имеет политическое значение»?

– Для ясности уточним, – воодушевляясь, и радуясь, и немного суетясь на месте, сказал Милютин. – Скажем, не вообще «это», а скажем, например, «работа имеет политическое значение». Что же это означает?

И он объяснил, что у Ленина есть в одном труде такая фраза: «Политика – это фактическая судьба миллионов людей». Значит, политическое значение работы – это ее значение для судьбы миллионов людей, то есть для всего народа, для Родины. И коммунист работает всегда с этим значением: что бы он ни делал – он творит политику, судьбу миллионов людей. А какой должна быть судьба наших советских людей теперь, на войне? Ясно – победа. И когда теперь говорят: «Это имеет политическое значение», – значит, это нужно для победы людей над фашизмом. И вот Киров еще говорил: «Истинному коммунисту свойственна постоянная благородная внутренняя тревога за дело партии!.. Тревога! Не забота – а тревога!» Тревожиться за дело всей партии – это и значит подходить к делу политически.

Ивана Ильича принимали в партию ранней весной, уже за своей заставой, в «своем райкоме», потому что они вернулись в это время из «тыла» на свой завод, который должен был начать работать для города. Придя в райком, Иван Ильич увидел с волнением и радостью, что с ним сегодня идут на бюро много старых его знакомых по своему заводу и заставе. Он понял, что это означает, и, вспомнив рассказ Милютина о ленинском призыве, подумал, что все, кто вступает в партию сейчас, в дни этой немыслимой блокады, – тоже коммунисты ленинского призыва!

Он подумал даже, что, когда через несколько лет кто-нибудь спросит его, с какого он года в партии, он ответит: «Я – блокадного ленинского призыва ленинградской зимы сорок второго года», а вернее всего будет сказать: «Я – коммунист ленинского призыва во время Отечественной войны», – и эта мысль наполнила его теплом и гордостью.

После того как Иван Ильич стал коммунистом, внешне в его жизни ничто не изменилось, а внутренне все время менялось и появлялось новое.

Самое главное из этого нового было то, что теперь он тоже, как Милютин, стал «беспокойным». В нем появилось и все нарастало непреодолимое чувство постоянной тревоги и личной ответственности не только за свою работу, но за весь город, за всю страну,

за всю ее судьбу. И это новое чувство заставляло Ивана Ильича брать на себя любую работу, не размышляя даже – по силам она ему или нет. Ведь он был теперь не просто мастером Славновым – он был коммунистом Славновым. Это было очень тяжело физически, потому что он был так же слаб и истощен, как все остальные, но он не мог иначе...

Ивану Ильичу особенно тяжело пришлось тогда, когда на завод поступил заказ на трамвайные моторы. Оживающему городу нужны были трамваи. Они уже начали ходить, но их было мало, а надо было, чтоб было достаточно: трамвай в те дни был в Ленинграде не просто транспортом, средством передвижения – он был средством сохранения сил и жизней истощенных, обессиленных ленинградцев.

– Трамвай в нашем городе имеет политическое значение, – объяснил Милютин Славнову, – тебе придется поднажать, товарищ Славнов, именно тебе.

А дело было в том, что уже много-много лет данный завод не изготавливал трамвайных моторов, он давно перешел на гигантские машины... Ни специалистов этого дела, никаких чертежей, схем на заводе не было, и почему-то не оказалось их в трамвайном управлении. Иван Ильич был единственным специалистом на заводе, да и во всем Ленинграде, который пятнадцать лет назад мотал якоря для трамвайных моторов и, значит, мог вспомнить, как он это делал, мог дать мотор. И вот Иван Ильич стал мотать якоря по памяти, а память за время голода у него сдала, а сроки были жесткие... Никогда в жизни не работал мастер Славнов с таким напряжением всех сил мозга, тела и души, и мысль, что работа его имеет политическое значение, не давала ему покоя и отдыха. Он работал, не покидая цеха, ночуя тут же в конторке, благо было уже довольно тепло. Иногда, когда Иван Ильич ложился на краткий отдых, он вдруг чувствовал, что больше не поднимется – так, как не поднимались люди с той проклятой койки, – и он так пугался этого ощущения, что тут же вставал и пытался работать. Во сне он вспоминал, как мотал когда-то якоря.

Первые три мотора немедленно сгорели – один за другим. Иван Ильич был так угнетен, что на него больно было смотреть. И люди отворачивались или не смотрели ему в глаза, жалея его. Но у него и мысли не возникало о том, чтобы отказаться от дальнейшей работы, которая многим казалась в общем-то невыполнимой. Ведь он же был коммунист: «Не я – так кто же?» И он принимался вспоминать и искать вновь и вновь, преодолевая свою неуверенность, разочарование, усталость, пока не добился своего: он дал моторы трамваю – он по-настоящему помог людям жить и бороться в блокаде. И это была не просто производственная победа опытного мастера, старого человека над самим собой – это была победа молодого коммуниста Славнова. Правда, о ней нигде не писали, но она принесла Ивану Ильичу самые драгоценные дары: сознание полностью совершенного долга и, главное, уверенность в себе как в коммунисте-ленинце.

Потом, хотя город все еще был в осаде, хотя немцы продолжали свирепо обстреливать завод, пошли заказы еще сложнее и труднее – новые машины для освобождаемого родного Донбасса и многое, многое другое. Но Иван Ильич уже знал, что может коммунист, и какой бы фантастикой ни казались сроки заказа и возможность выполнения его в городе-фронте, Иван Ильич спокойно ручался своим рабочим, что заказ выполнить можно и мы его обязательно выполним. Он знал дорогу. Он не надрывался, он думал, изобретал. И сам он брал на себя наивысшие обязательства и выполнял их, личным примером, жизнью своей доказывая, что все можно свершить – можно пережить любой огонь и страх, можно найти любую дорогу, – если это нужно во имя судьбы народа.

Как-то одна из его учениц, молодая девушка, попросила у него рекомендацию для вступления в партию. Иван Ильич обрадовался и смутился.

– Я еще не имею права рекомендации давать, дорогуша, – сказал он, – у меня еще стажа не хватает...

– Да ну-у? – удивленно протянула девушка. – А ведь мы все думаем, что вы старый большевик. Вы уж, я извиняюсь, и седенький, и говорите так, и поступаете...

– Нет, – ответил Славнов, глубоко взволнованный ее словами, – человек я пожилой, это верно, но коммунист – молодой. – И, помолчав, тихо, немного стесняясь, прибавил свои

заветные, давно приготовленные слова, которые ему еще не удалось никому сказать: – Мы с тобой одного призыва коммунисты: ленинского призыва Великой Отечественной войны.

* * *

О, грозные, ледовитые дни ленинского призыва 1924 года! Кто не помнит их из нашего и более старшего поколения? Какая скорбь была и какое ни с чем не сравнимое мужество! Как неукоснительно и с каким волнением отмечали мы всегда ленинские дни – дни траура о нем... И как правильно поступила Партия, когда перенесла ленинские дни на день его рождения. Ведь в самом деле, ежегодно в день смерти Ленина народ отчитывался перед своим бессмертным вождем, и, несмотря ни на какие издержки нашего строительства, с каждым годом все радостнее было отчитываться народу в своих победах. И победы – зримые и еще незримые тогда – все-таки, несмотря ни на что, нарастали, и мы не могли не радоваться им. Так день траура перестал быть днем скорби; но волею истории, волею народа превращался в день торжества. Так пусть же наше торжество будет полным, пусть вечно отмечает Земля один из лучших своих дней – день рождения Владимира Ленина. Вот уже почти столетие прошло со дня его рождения и более тридцати шести лет со дня смерти, но расстояние между живущими людьми и Лениным не нарастает – века не отдалят Ленина от людей, от мира! Наоборот! Ленинский призыв разворачивается во всем мире. Уже не только русский рабочий класс – целые народы всех пяти частей земного шара поднимаются по ленинскому призыву на строительство нового общества – на создание скалы Любовь. И все ближе и ближе Ленин сердцу человеческому – величайший человек, отдавший всю жизнь свою за счастье людей.

1947–1959

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке BooksCafe.Net](#)
[Оставить отзыв о книге](#)
[Все книги автора](#)